This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, ириналлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

A 829,308

PROPERTY OF
University of
Michigan
Libraries
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

MÉMOIRES

DE

Gr. Gerchouni.

EX LIBRIS
SIR PAUL VINOGRADOF

„ Въ борьбѣ обрѣтешь ты право свое“.

ГРИГОРІЙ ГЕРШУНИ

ИЗЪ НЕДАВНЯГО ПРОШЛАГО

ИЗДАНІЕ ЦЕНТРАЛЬНАГО КОМИТЕТА ПАРТІИ

СОЦІАЛИСТОВЪ-РЕВОЛЮЦІОНЕРОВЪ.

PARIS

TRIBUNE RUSSE

50, RUE LHOMOND, 50

1908.

LIBRARY OF CONGRESS
SURPLUS

DK
254
.G38
A3
1908

R

1934

TOUS DROITS RÉSERVÉS.

[redacted]

Imprimerie J. Nachimovitch, 36, rue Jacob, Paris.

ИЗЪ НЕДАВНЯГО ПРОШЛАГО

Памяти

незабвеннаго друга и товарища

Михаила Гоца.

Въ минуты скорби и печали,
Во дни сомнѣній и тревогъ
Твой образъ намъ сіялъ
Звѣздою путеводной.

Часть первая.

Петропавловская крѣпость.

Глава I.

Когда я, послѣ удавшагося побѣга изъ Акатуйской каторги, увидѣлся съ товарищами, нѣкоторые настойчиво предлагали: напишите свою автобіографію.

Написать свою автобіографію! Какъ это звучитъ смѣшно и дико! Какой смыслъ и толкъ въ ней? Кому и для чего она нужна? И какъ писать ее? Въ прошломъ еще такъ мало, въ будущемъ чудится такъ много! Всѣ мысли и думы не о томъ, что уже пережито, а о томъ, что еще предстоитъ пережить. Впереди новая жизнь, и трудно цѣликомъ, хотя бы мысленно, вернуться къ старой. А главное — безполезно. Не все ли равно, гдѣ, когда, отъ кого и почему родился, какъ росъ, какъ протекало дѣтство и пр., все то, чѣмъ наполняются автобіографіи? Все это удовлетворяетъ лишь праздному любопытству праздныхъ людей, и не намъ, революціонерамъ, этому потворствовать. Интересъ имѣлъ бы разсказъ о революціонной дѣя-

тельности, о нашихъ первыхъ робкихъ шагахъ, но — объ этомъ еще не наступило время говорить.

Мнѣ пришло въ голову другое. Борьба продолжается. Каждый день десятки борцовъ попадаютъ въ руки правительства. Передъ ними, большею частью юными, неопытными, впервые очутившимися въ такомъ положеніи, раскрывается мрачная пропасть. На каждомъ шагу ихъ ждутъ козни правительства. Полное одиночество, полная неизвѣстность. А правительственные агенты, безжалостные, продажные, лукавые плетутъ сѣти вокругъ своей жертвы. Нѣтъ границъ ихъ измышленіямъ, ихъ преступной изобрѣтательности, гдѣ вопросъ идетъ о томъ, чтобы сломить стойкость и мужество революціонера.

И когда юный работникъ начинаетъ чувствовать себя въ сѣтяхъ правительства, онъ въ ужасѣ мечется, стараясь сохранить въ себѣ революціонную честь. Давитъ новизна, необычайность обстановки. Кажется, что ты — единственный, вокругъ котораго скопилось столько тучъ. И большимъ облегченіемъ было бы въ такія минуты знать, что не тебѣ одному приходилось все это переживать, что въ томъ же положеніи бывали и другіе, что эти другіе находили въ себѣ силы все это пережить и изъ всѣхъ испытаній выйти съ честью.

Давно сказано: великое счастье знать напередъ

всю глубину грядущаго несчастья. Испытанія въ царскихъ застѣнкахъ мы, революціонеры, конечно, считаемъ не несчастьемъ, а лишь естественнымъ, неизбѣжнымъ добавленіемъ, завершающимъ всю дѣятельность. Но все же повѣсть о пережитомъ и перечувствованномъ «по ту сторону жизни» можетъ быть не безполезной для молодыхъ работниковъ.

Ихъ я имѣю въ виду при набрасываніи этихъ строкъ. Къ сожалѣнію, о многомъ, что было бы очень полезно знать молодежи, еще не настало время говорить. О многомъ придется умолчать, о многомъ придется говорить лишь вскользь.

Глава II.

Начну съ момента ареста. «То было раннею весной» — 13 мая 1903 года. Въ партійныхъ кругахъ послѣ нѣкоторой подавленности чувствовался сильный подъемъ. Разстрѣлъ златоустовскихъ рабочихъ, потрясшій тогда всю страну, не остался безнаказаннымъ. 6-го мая, среди бѣла дня въ городскомъ саду членами Боевой Организаціи былъ «разстрѣлянъ», какъ потомъ выразился на нашемъ процессѣ защитникъ Л. А. Ремянниковой, — виновникъ златоустовской бойни — губернаторъ Богдановичъ.

Партія переживала тогда періодъ «строительства». Отдѣльныя лица, цѣлыя группы старались завязать между собой сношенія. Приливъ силъ былъ большой (по тѣмъ временамъ). На очереди былъ цѣлый рядъ дѣлъ. Спѣшно нужно было сговориться съ покойнымъ Поливановымъ, недавно бѣжавшимъ изъ Сибири, со смоленской группой, выдѣлившей впослѣдствіи такія крупныя силы, какъ Швейцеръ, трагически погибшій при взрывѣ въ гостинницѣ Бристоль, А. А. Биценко и др. Словомъ, машина въ полномъ ходу.

Я направлялся изъ Саратова и до Воронежа все колебался: проѣхать ли прямо въ Смоленскъ или заѣхать въ Кіевъ, гдѣ необходимо было сговориться относительно партійной типографіи.

Кіевъ я послѣднее время инстинктивно избѣгалъ: у жандармеріи были указанія о частыхъ моихъ посѣщеніяхъ, и шпіоны были настороже.

Не знаю уже, какъ это случилось, — пути господни неисповѣдимы, я направился на Кіевъ. Чтобы не заѣзжать въ городъ, далъ условленную телеграмму о встрѣчѣ въ дачной мѣстности Дарница (нѣсколько станцій отъ Кіева). Прибылъ туда — никого нѣтъ, кого нужно, но бросился въ глаза «типъ», революціонеру совсѣмъ не нужный. Насладившись вдосталь свѣжимъ лѣснымъ воздухомъ, со слѣдующимъ поѣздомъ направился

въ Кіевъ. Не желая вызывать на станціи сенсацію — слѣзъ на пригородной станціи Кіевъ II-ой. Гляжу окрестъ — вдали рѣютъ нѣкіе, счетомъ ровно пять.

Для меня или не для меня? Вотъ вопросъ, который, впрочемъ, рѣшился довольно скоро.

Прошелъ станцію, двинулся по улицѣ. Чувствую: для меня! Не иначе, какъ для меня! Оглядываться нельзя. Составляю планъ отступленія: выбрать одинокаго извозчика, посулить журавля въ небѣ и цѣлковый въ зубы и скрыться. Планъ, въ сущности говоря, геніальный, и потерпѣлъ участь всѣхъ геніальныхъ плановъ: выполнить его не дали. Только вдали показался извозчикъ, позади слышу бѣшеную скачку. Черезъ нѣсколько моментовъ останавливаются двѣ пролетки, кто-то сзади хватаетъ за руки, чувствую какія-то крѣпкія объятія, и сразу окруженъ маленькой, но теплой компаніей: пять шпиковъ и городовой.

Кто-то предупредительно беретъ портфель, двое подъ руку: извозчикъ — пожалуйте!

— Поѣзжай, сообщи ротмистру!

— А вы куда?

— Извѣстно куда — въ старокіевскій.

Поѣхали въ старокіевскій участокъ — ему же

бысть жандармскимъ управленіемъ. По дорогѣ начинаю щупать почву.

— Вы чего, собственно говоря, меня арестовали?

— Да такъ, приказано было.

— Ну, смотрите, какъ бы въ отвѣтѣ не были: чего-то тутъ напутали!

— Все можетъ быть! Да только, какъ намъ приказано, такъ и дѣлаемъ.

— Да вы-то меня знаете?

— Почемъ мы знаемъ? Говорили — пріѣдетъ кто-то, ну вотъ и пріѣхали, а тамъ разберутъ.

Да, ужъ, пожалуй, что разберутъ, думаешь про себя, представляя себѣ картину «разбора».

Ѣдемъ. Публика подозрительно оглядывается: что, молъ, за странная компанія? Все по обыкновенному: вывѣски, лавки, парочки направляются въ сады. Странное дѣло: все время, въ теченіе слишкомъ двухъ лѣтъ старался представить себѣ моментъ ареста. Какъ это будетъ? Что будешь чувствовать въ моментъ, когда, вотъ былъ человѣкъ и не стало человѣка? И все казалось, что чувства будутъ въ этотъ моментъ какія-то особенныя, какія-то никогда небывалыя.

А, между тѣмъ, самое будничное настроеніе. Какъ ни въ чемъ не бывало!

Только все думаешь: вотъ онъ конецъ-то, какъ пришелъ! Какъ просто!

Глядишь по сторонамъ: нельзя-ли? Оказывается никакъ нельзя. Прiѣхали. Старокiевскiй участокъ! Привѣтъ тебѣ, «прiютъ знакомый»! Въ дежурной околодочный. Кругомъ тихо и пустынно, какъ въ головѣ министра. Шпики о чемъ-то пошептались съ околодкомъ.

Начинается обычный опросъ: кто, какъ?

— Паспортъ?

— Извольте!

Начинается обыскъ. Изъ бокового кармана выуживается браунингъ. Околодокъ нѣсколько оживляется.

— Имѣете разрѣшенiе?

— Нѣтъ.

— Ну, знаете, плохо будетъ!

— Въ самомъ дѣлѣ? Развѣ ужъ такъ строго!

— Нынче очень строго! Помилуйте: особенно браунингъ! Безъ штрафа не отдѣлаетесь!

— Вотъ оказiя-то! А можетъ какъ-нибудь и пройдетъ?

— Вотъ, посидите тамъ, подождите: начальникъ охраны скоро явится.

Очевидно, не имѣютъ никакого представленiя обо мнѣ. Сижу. Нельзя-ли?... Нельзя! Шпики, не зная, куда дѣться, расположились у дверей.

Проходитъ минутъ двадцать. Вдругъ съ шумомъ открывается дверь, вваливается господинъ въ штатскомъ. Сразу видно — переодѣтый жандармъ. Подлетаетъ вплотную:

— Ваша фамилія?

— Если вы меня арестовали, то вы, очевидно, знаете, кто я?

— Ну, чего тамъ? Сказали бы сразу, безъ излишней канители!

Не знаю ужъ, развязный ли его тонъ или просто много досады накопилось, но незамѣтно даже для себя, какъ гаркну: «Вы, сударь, очевидно въ кабакѣ воспитывались! Прошу такимъ тономъ со мной не разговаривать!»

Охранникъ сдѣлалъ шагъ назадъ, пристально уставился на меня, да какъ рявкнетъ: «Жандармовъ! Городовыхъ! Охрану къ дверямъ! Вы головой отвѣчаете мнѣ за этого человѣка!» бросился онъ вдругъ къ совершенно растерявшемуся околодку и, какъ бѣшеный, заметался по комнатѣ.

Вотъ ужъ именно: ногой топну — изъ-подъ земли выростутъ легіоны! Въ одинъ мигъ — не успѣлъ даже оглянуться — вся дежурная биткомъ набилась жандармами, городовыми, — кто въ разстегнутомъ мундирѣ, кто въ блузѣ, на ходу напяливая шашку — всѣ съ удивленіемъ оглядываются кругомъ: по какому, молъ, поводу шумъ,

а драки нѣтъ? Бѣготня по лѣстницѣ вверхъ и внизъ, безпрерывно звенитъ телефонъ .... Пошлò! ...

Такъ какъ я все хотѣлъ допытаться, что, собственно, послужило поводомъ къ аресту, то раньше всего внесъ протестъ противъ незаконнаго задержанія агентами охраны совершенно неизвѣстнаго имъ человѣка.

— Да вѣдь вы такой-то! Мы то, вѣдь, знаемъ! Почему-бы вамъ не назвать себя?

— Объясните мнѣ раньше, почему меня ваши агенты арестовали, а потомъ ужъ будемъ съ вами разговаривать.

Такъ ничего другъ отъ друга не добились.

Часамъ къ 11-ти отвели въ камеру. Ключъ взялъ себѣ ротмистръ, къ дверямъ приставили жандармовъ, безсмѣнно стоявшихъ у «фортки».

Ночь на первомъ новосельѣ прошла безъ инцидентовъ. Солома жесткая и колючая, клопы злющіе... Впрочемъ, наконецъ, и клопы устали, и крамольникъ усталъ: въ концѣ концовъ заснули.

Днемъ поставили жандармовъ въ самую камеру. Одинъ — хохолъ, уже пожилой, другой молодой.

Часъ-другой съ ними не заговаривалъ. Когда они изрядно соскучились и скулы у нихъ начали трещать отъ зѣвоты, затѣялъ бесѣду.

— А какъ вы думаете, кому изъ насъ лучше:

вамъ или мнѣ? Я то, по крайней мѣрѣ, знаю, за что сюда попалъ; ну, а вы за какія прегрѣшенія?

— Служба! Извѣстное дѣло! — оглядываясь на дворъ, процѣживаетъ хохолъ.

— Ну, хорошо, служба! А подумали-ли вы о томъ, какія такія мои провинности, что вамъ приказано глазъ съ меня не спускать?

— Чего думать? Наше дѣло, паничъ, маленькое: что начальство прикажетъ, то и дѣлаемъ.

— Ну, не совсѣмъ ужъ такъ оно! Если бы вамъ приказали накормить, да напоить человѣка — пожалуй, тутъ раздумывать не о чемъ. А когда васъ приставляютъ, чтобы не спускать глазъ съ человѣка, котораго ваше начальство скоро поведетъ на висѣлицу, ужели вы даже не задумываетесь, за что его хотятъ повѣсить?

Жандармовъ передернуло. Подошли ближе, насторожились.

— Слушайте! Вотъ вы только подумайте: зналъ же я, на что иду. Чего же бросилъ и домъ, и родныхъ, и состояніе? Не сумасшедшіе же мы? Стало быть, для чего-нибудь мы это дѣлаемъ? Чего-же мы хотимъ?...

Съ часъ поговорили. Какъ живой стоитъ и теперь предо мной этотъ старый жандармъ съ черными глазами, покрытыми влагой отъ душевнаго

волненія, охватившаго его, когда съ глазу на глазъ почеловѣчески поговорилъ съ «арестантомъ».

Часамъ къ пяти, слышу, поднялась какая-то возня. Является жандармскій офицеръ — пожалуйте! Въ корридорѣ, по лѣстницѣ жандармовъ и городовыхъ понатыкано тьма тьмущая. Вводятъ въ какую-то комнату, наполненную ими-же. Тутъ же все начальство. Въ черномъ сюртукѣ — прокуроръ судебной палаты.

— По распоряженію департамента полиціи вы будете отправлены въ Петербургъ. Будьте добры раздѣться.

Гюго говоритъ, что палачи при исполненіи обязанностей — самые любезные люди. Русскіе жандармы, когда имъ предстоитъ «серьезная» обязанность не менѣе любезны. Помню, у меня отъ его изысканнаго тона даже сердце ёкнуло; что-то затѣваютъ — пронеслось въ головѣ.

Посрединѣ стулъ, вокругъ — аксельбанты и эполеты. Раздѣваюсь. Остался въ одномъ бѣльѣ. Тщательно осматриваютъ уже вчера распоротое платье.

— Будьте добры все съ себя снять.

Снялъ. Сижу.

Осмотрѣли. Ничего противозаконнаго не нашли. Говорятъ, короли совершаютъ въ торжественной

обстановкѣ свой туалетъ. Не понимаю, что хорошаго находятъ въ этомъ.

— Подай чистое бѣлье!

Одѣлся.

— Все? — спрашиваю.

— Да, все! Только видите, г-нъ Г..., вамъ придется подвергнуться маленькой непріятности... распоряженіе свыше... вотъ телеграмма... это не отъ насъ...

Сѣдой полковникъ, смущаясь, путаясь, указываетъ на какую-то бумагу.

— Что такое, въ чемъ дѣло?

— Да видите... распоряженіе заковать въ кандалы...

Является молодой конвойный, приноситъ кандалы, наковальню, раздается лязгъ кандаловъ.

Теперь, вѣроятно, это явленіе обыкновенное. Но то было въ «доконституціонное время.» Тогда къ этому «еще не были привыкши». Всѣ смущены, сконфужены, у всѣхъ глаза опущены или бѣгаютъ по сторонамъ: стараются не глядѣть другъ на друга. Налаживаютъ подкандальники. Примѣриваютъ кандалы. Подобрали по мѣркѣ. Раздается первый гулкій ударъ молота по заклепкѣ. Всѣхъ передергиваетъ. Глаза опускаются еще ниже. Прокуроръ усиленно сосетъ сигару, полковникъ что-то внимательно разсматри-

ваетъ въ окно. Прямо противъ меня черноглазый жандармъ, съ которымъ утромъ велъ бесѣду. Глаза наши встрѣтились. Въ его глазахъ было столько участія и муки, что я почувствовалъ въ немъ родную душу. Онъ былъ блѣденъ, какъ смерть. Стараюсь смотрѣть на него въ упоръ. Конвойный быстро дѣлаетъ свое дѣло. Молотъ гулко звучитъ и удары, кажется, пробуждаютъ совѣсть даже въ этихъ людяхъ.

— Готово! Прикажете ручные?

Полковникъ утвердительно качаетъ головой. Черноглазый жандармъ, тяжело дыша, подвигается къ стѣнѣ, стараясь прислониться, но не выдерживаетъ и, очевидно, боясь упасть, медленно, незамѣтно пробирается къ выходу.

Странное чувство охватываетъ закованнаго. Высокое, сильное. Вся обстановка приподнимаетъ. Чувствуется дыханіе смерти... Далеко отъ земли... Близко къ небу... Въ такія минуты самыя сильныя пытки, вѣроятно, принимаются съ восторгомъ и переносятся легко. Руки ласково, любовно сжимаютъ желѣзо кандаловъ, голова склоняется низко, низко и губы невольно прикасаются къ цѣпямъ...

Глава III.

Въ шикарной каретѣ, подъ эскортомъ казаковъ мчимся на вокзалъ. Объѣхали полотно дороги и прямо, къ великому изумленію стоявшей вдали публики, къ вагону. Намъ отвели два купэ, вагонъ потомъ прицѣпили къ курьерскому поѣзду и въ сопровожденіи двухъ офицеровъ и шести унтеровъ — въ Питеръ.

Много интереснаго было въ дорогѣ, но все больше изъ области неудобь-сказуемаго.

По всей линіи были даны телеграммы, чтобы жандармы встрѣчали вагонъ № такой-то. Интересующейся публикѣ говорили, что ѣдетъ какой-то важный чиновникъ. Не забуду одного курьеза.

На второй день пути дежурный офицеръ предложилъ взять изъ ресторанъ-вагона обѣдъ. Заказалъ и распорядился, чтобы подали въ купэ. Оффиціантъ, очевидно, предполагая прислуживать важной персонѣ, съ шикомъ влетаетъ съ серебрянымъ приборомъ въ купэ, гдѣ застаетъ на кушеткѣ растянувшагося во весь ростъ джентельмена, скованнаго по рукамъ и ногамъ, подъ охраной вооруженныхъ жандармовъ. Ужасъ его былъ такъ великъ, что у него все повалилось изъ рукъ и нѣкоторое время онъ не могъ придти въ себя.

Но потомъ, оправившись, упорно хотѣлъ взять

серебро обратно, боясь, что у такого «сурьезнаго» преступника, пожалуй, чего и не досчитаешься потомъ. За таковыя «несуразныя» понятія былъ дежурнымъ унтеромъ обруганъ «необразованностью» и деревенщиной татарской.

Вечерѣетъ. Офицеръ, утомленный, сидитъ въ корридорѣ. Унтера разнѣжились и согласились спустить окошко. Въ купэ врывается ароматъ теплаго весенняго вечера. Поѣздъ медленно двигается по самой живописной мѣстности — около Вилейки. На зеркалѣ воды мѣрно качаются лодки. Доносятся звонкіе голоса молодежи. Разодѣтыя въ яркихъ весеннихъ костюмахъ барышни машутъ намъ платками. По берегу — густой, зеленый лѣсъ. То тамъ, то здѣсь вырисовываются живописныя группки гуляющихъ. Свѣжая, сочная трава съ веселенькими, какъ смѣющіеся дѣтскіе глазки, незабудками ласково манитъ къ себѣ. Нѣгой и весеннимъ тепломъ вѣетъ кругомъ. Человѣческое горе, муки, голодъ, холодъ, безправіе, адъ угнетенія и рабства, созданный въ Россіи — все куда-то пропало, какъ-то исчезло. Жизнь кажется такой красивой, такой манящей. Даже жандармы притихли, очарованные картиной.

Мучительно, неудержимо тянетъ туда — на волю. Въ сердце прокрадывается боль. Какая-то щемящая тоска давитъ грудь. Думы — какія-

то тяжелыя, неопредѣленныя: не то неясные обрывки воспоминаній дѣтства, не то мутные клочья туманнаго и тревожнаго будущаго. Изъ груди вырывается не то стонъ, не то вздохъ. Тѣло вздрагиваетъ, лязгъ цѣпи приводитъ къ дѣйствительности. Жандармъ уныло и какъ бы безнадежно машетъ рукой: э-э-эхъ, жизнь ты каторжная!...

Но впечатлѣнія и настроеніе мѣняются быстро. Завтра утромъ должны прибыть въ Петербургъ. Неужели такъ и доѣдемъ? Неужели ничего не случится? Мысль лихорадочно начинаетъ работать.

Бѣжать! Во что-бы-то ни стало бѣжать! Создаешь планъ побѣга.

Ночью офицеръ устанетъ, будетъ сидѣть въ коридорѣ. Жандармовъ можно будетъ опоить. На подъемѣ выскочить въ окно. А кандалы? Разорвать рубаху, обернуть, чтобы не звенѣли, захватить шашку, въ лѣсу сбить заклепку.

Ручные кандалы? Мыломъ! Надо захватить съ собой мыла, хорошо намазать кольца — должны слѣзть. Все обдумано, все предусмотрѣно. Унылое настроеніе, навѣянное весенней нѣгой, какъ рукой снято. Грудь дышетъ высоко и сильно. Летаешь мыслями богъ вѣсть куда. Обнимаешь свободу...

Только бы ночь скорѣе настала! Ждешь ночи…

. . . .

Поѣздъ останавливается на какой-то маленькой станціи. Проходитъ начальникъ въ красной шапкѣ. Манитъ рукой къ окну. Всматриваюсь — дрожь пробѣгаетъ по тѣлу.

— Михаилъ, это ты? Какъ ты здѣсь?

— Тише! Будь готовъ! Что-бы ни случилось на этомъ перегонѣ — не тревожься. Когда услышишь: «у насъ цвѣты» — слѣдуй за ними: это наши. Прощай! Скоро увидимся!

— Постой, бога ради, Михаилъ, объясни, какъ ты здѣсь? И почему ты въ формѣ начальника станціи? Что все это значитъ? Какъ вы такъ быстро сорганизовались?

Я припалъ къ стеклу, но Михаилъ, сдѣлавъ предостерегающій знакъ рукой, отходитъ отъ вагона и даетъ сигналъ къ отходу поѣзда. Сердце бьется, точно въ груди молота стучатъ.

Поѣздъ ускоряетъ ходъ, потомъ летитъ съ невѣроятной быстротой — очевидно спускъ. Потомъ замедляетъ ходъ. Вдругъ — что за чортъ! Вагонъ катится назадъ! Катится съ легкостью и безшумно, какъ будто оторвавшись отъ поѣзда. Черезъ нѣсколько минутъ замедляетъ ходъ. Слышны голоса и команда: шашки-и-и вонъ! Лязгъ шашекъ. Въ корридорѣ слышенъ зычный

голосъ. «Кто тутъ начальникъ конвоя? Почему начальникъ конвоя не на мѣстѣ?»

Жандармы вскакиваютъ, протираютъ глаза, будятъ дежурнаго офицера. Къ купэ подходитъ грозный жандармскій генералъ и обрушивается на дежурнаго.

— Такъ это вы такъ исполняете свои обязанности? Это вы такъ конвоируете государственныхъ арестантовъ? — Офицеръ пытается заспаннымъ голосомъ что-то объяснить.

— Молчать, когда съ вами начальство разговариваетъ! Да знаете-ли вы, что злоумышленники отцѣпили вагонъ и готовились отбить вашего арестованнаго, и только благодаря распорядительности моего адъютанта мы сумѣли разогнать шайку!

Я прислушиваюсь, ни живъ, ни мертвъ. «Готовились отбить арестованнаго!» Такъ вотъ оно что! И все провалилось! Бѣдный Михаилъ! Знаетъ ли онъ уже?

— Вы вашихъ людей всѣхъ знаете? — рычитъ генералъ.

— Такъ точно, ваше пр-во, люди надежные.

— Надежные! Тутъ безъ измѣны не обошлось. Вы всѣ будете отданы подъ судъ! Осмотрѣть у арестанта кандалы!

Осматриваютъ — кандалы цѣлы.

— Господинъ ротмистръ, смѣните старый конвой нашимъ! Поставьте двойную охрану.

Въ купэ вваливаются жандармы съ обнаженными шашками. Офицеръ что-то пытается говорить, но генералъ снова набрасывается на него, грозитъ судомъ, разстрѣломъ. Дверь купэ закрывается. Одинъ жандармъ наклоняется ко мнѣ, цѣлуетъ въ лобъ и шепчетъ: «у насъ цвѣты». Двое поднимаютъ на руки, подаютъ черезъ окошко стоящимъ снаружи жандармамъ, кому-то сидящему верхомъ на лошади, кладутъ на колѣни, и мы мчимся.

— Узнаешь? — шепчетъ знакомый голосъ.

— Ты! Михаилъ!

— Тише! опасность еще не миновала.

Несемся съ быстротой молніи.

Вдругъ — крики, ружейная пальба.

— Прячься въ кусты, — шепчетъ Михаилъ, спуская съ лошади. Лошадь, раненная пулей помчалась, какъ бѣшеная. Вслѣдъ за ней пронесся отрядъ, продолжая стрѣльбу. Стало тихо. Мы поднялись и углубились въ лѣсъ. Кандалы мѣшаютъ двигаться, а сбить не удается. Начинаетъ свѣтать. Руки и ноги сбиты, отовсюду сочится кровь. Томитъ страшная жажда. Михаилъ съ трудомъ меня поддерживаетъ. Невѣроятная тоска охватываетъ меня.

— Не дойти, другъ! Чувствую, что не дойти.

— Скоро, скоро! Еще немного — и мы у цѣли, — успокаиваетъ Михаилъ.

Вдали виденъ домикъ. Съ трудомъ добираемся. Орѣховыя деревья, стеклянная веранда.... что такое? Да вѣдь это наша дача!... Изъ комнаты женскій голосъ — «Гдѣ онъ? гдѣ онъ? Да пустите же меня къ нему!»

— Мамочка! Ты! Боже мой, я съ ума схожу! Да что тутъ дѣлается? Какъ я попалъ сюда?

— Я, я! Дитятко мое! Теперь ужъ мы не отдадимъ тебя!

Горячія объятія сжимаютъ меня . . . .
. . . .

— Паничъ! Да вставайте же, скоро пріѣдемъ! Что васъ никакъ не добудишься! — ворчалъ дежурный жандармъ.

Въ окно било веселое, ясное утро. Мы подъѣзжаемъ къ Петербургу. Офицеры разодѣты въ парадную форму. Серебро эполетъ красиво оттѣняла лазурь мундира.

Сборы недолгіе. Настроеніе, навѣянное сномъ, быстро переходитъ въ другое — боевое. Близость встрѣчи съ «ними», съ «Петербургомъ» подмываетъ: схватка близка — и послѣдняя схватка! Впереди рисуется процессъ, — первый большой процессъ соціалистовъ-революціонеровъ. Народу набрано много и народу хорошаго. Все знакомцы

и друзья. Мы «имъ» покажемъ, какъ воюютъ! Бодро, весело глядишь впередъ. Первый процессъ для революціонера — это какъ первый балъ для шестнадцатилѣтней дѣвушки. Нужды нѣтъ, что первый же часто бываетъ и послѣднимъ, что впереди висѣлица: идешь, какъ на бой, какъ на праздникъ...

Глава IV.

Въ такомъ настроеніи съ большой помпой былъ доставленъ въ Жандармское Управленіе. Ввели въ какую-то комнату. Посерединѣ стулъ: для «бенефиціанта». Кругомъ жандармы. Расположился, жду, что изъ этого выйдетъ.

Удивительно въ Петербургѣ вѣжливый народъ! Только къ нимъ пріѣхалъ, а ужъ тебѣ сейчасъ готовы честь и всяческое уваженіе оказать. Началось представленіе депутацій: отъ корпуса жандармовъ, министерства юстиціи, министерства внутреннихъ дѣлъ и пр.

Кандаловъ не снимали. Для фотографіи позировалъ въ ручныхъ и ножныхъ.

— На допросъ!

Громыхая кандалами, нарушая общественную тишину и спокойствіе, пробираюсь въ «допросную». Жандармскій генералъ и очаровательный

Трусевичъ — тогда товарищъ прокурора судебной палаты по секретнымъ дѣламъ, нынѣ волею божіей директоръ департамента полиціи. Старый знакомый, но не скажу, чтобы пріятный.

— Ваша фамилія — Г.?

— Вамъ лучше знать. Чѣмъ могу служить?

— По закону (!!), — арестованному въ теченіе 24-хъ часовъ должны предъявить обвиненіе. Угодно будетъ вамъ назвать себя?

— Нѣтъ-съ, не угодно. А вотъ, не угодно ли будетъ «представителю закона» объяснить арестованному, почему его арестовали агенты, не знавшіе его?

— Техника ареста подлежитъ вѣдѣнію охраны: мы объ этомъ ничего не знаемъ. Вы привлекаетесь по обвиненію въ принадлежности къ Партіи Соціалистовъ-Революціонеровъ и Боевой Организаціи, въ участіи въ убійствѣ министра Сипягина и губернатора Богдановича, въ покушеніи на оберъ-прокурора Побѣдоносцева.

— Были вѣдь еще покушенія на Оболенскаго и фонъ Валя, за одно бы уже! Я могу идти къ себѣ, не правда-ли?

— Тутъ постановленіе о заключеніи васъ подъ стражу; вы подпишете?

— Попробую посидѣть безъ подписи. Авось не выселятъ.

— Значитъ, вы отъ показаній отказываетесь совершенно?

— Да, похоже на то. Прошу въ протоколѣ внести мой протестъ противъ наложенія оковъ, въ чемъ я вижу актъ мести со стороны правительства...

До двѣнадцати часовъ ночи сидѣлъ въ жандармскомъ.

Въ полночь вывели, усадили въ карету и подъ надежной охраной отправились въ путь. Подъѣзжаемъ къ Дворцовому мосту. Ага! Значитъ въ Петропавловку!

Желѣзныя ворота. Жандармскій офицеръ отправляется хлопотать, чтобы дали пріютъ. Переговоры ведутся довольно долго. Наконецъ, ворота открываются — пожалуйте! Проходимъ черезъ кордегардію, гдѣ подъ ружьемъ стоятъ два взвода солдатъ. Звонъ кандаловъ гулко отдается подъ каменными сводами. Проходимъ корридоръ нижняго этажа. Двери камеръ настежъ*), оттуда несетъ мракомъ, холодомъ и затхлостью. Под-

*) Въ нижнемъ этажѣ очень рѣдко держатъ заключенныхъ, вслѣдствіе крайней сырости. До конституціоннаго періода камеры тамъ пустовали.

нимаются картины застѣнковъ. Взбираемся по лѣстницѣ и сразу при поворотѣ — пожалуйте!

Маленькое замѣшательство: по инструкціи необходимо раздѣть и тщательно осмотрѣть, а между тѣмъ изъ-за кандаловъ нельзя снять ни платья, ни обуви. Расковывать же ночью комендантъ не разрѣшаетъ, боясь поднять всю крѣпость. Пришлось ограничиться осмотромъ кармановъ и р т а.

Черезъ окошко пробивается ранній разсвѣтъ петербургскаго утра. Свѣча въ желѣзномъ подсвѣчникѣ тускло мерцаетъ. Пахнетъ сыростью. Камера довольно большая: шесть шаговъ въ ширину и десять въ длину. Потолокъ низкій, сводомъ. Окошко на самомъ верху. Прямо противъ окна, чуть не вплотную — крѣпостная стѣна. Сѣрая, полуразвалившаяся*), въ ущелинахъ пробивается яркая, свѣжая зелень. Койка, прибитая къ полу, желѣзная доска, врѣзанная въ стѣну и имѣющая изображать столъ, да клозетъ — вся обстановка.

Рано утромъ разбудили. Повели внизъ расковывать. Съ непривычки провозились больше получаса. Отобрали платье, выдали казенное бѣлье,

*) Снаружи крѣпостныя стѣны облицованы гранитомъ, и имѣютъ видъ зловѣщій, но все же величественный. Изнутри — мерзость и запустѣніе. Зеркальное отраженіе самодержавнаго режима.

туфли и синій халатъ — таковъ костюмъ. Явился завѣдывающій арестантскими помѣщеніями — полковникъ Веревкинъ — объяснять «права и обязанности».

— Писать роднымъ можно?

— Да, два раза въ недѣлю, только нужно будетъ ждать распоряженія департамента полиціи.

— Свиданія?

— Какъ же, какъ же! По вторникамъ и субботамъ — если будетъ разрѣшеніе отъ департамента полиціи.

— Книги читать?

— Можно, можно! только вотъ разрѣшеніе департамента полиціи.

— Пищу улучшать?

— Сколько угодно! вотъ, отъ департамента полиціи деньги придутъ.

— А вѣшаются у васъ тутъ, полковникъ, тоже съ разрѣшенія департамента полиціи?

— Заявленій никакихъ не имѣете?

— Нѣтъ, не имѣю...

Камера моя оказалась знаменитымъ въ лѣтописи крѣпости — 46-мъ номеромъ. Это совершенно изолированная съ двойнымъ затворомъ и желѣзнымъ засовомъ камера. Противъ камеры сейчасъ же поставили дежурныхъ жандармовъ. Акустика такая, что малѣйшій шорохъ произво-

дитъ сильный шумъ. Когда въ камерѣ перелистываете страницу — слышно въ другомъ концѣ корридора. Въ камерѣ холодно и сыро. Топятъ до іюня мѣсяца, а иногда и все лѣто. Вѣчный полумракъ. Съ сентября до марта освѣщенія отпускаютъ на 20 часовъ въ сутки и все же приходится еще докупать! Цѣлыми недѣлями приходится жечь свѣчи сплошныя сутки! *)

Тюрьма помѣщается въ Трубецкомъ бастіонѣ; представляетъ собою пятиугольное двухъ-этажное зданіе, окруженное стѣнами бастіона; стѣна выше зданія, въ разстояніи одной почти сажени, такъ что свѣту проходитъ чрезвычайно мало.

Внутри зданія дворъ, усаженный деревьями. Посреди двора баня. Охрана крѣпости поручается военному караулу. Внутри жандармы и сверхсрочные унтера, т. н. присяжные. Разговаривать съ арестованными строжайше запрещено. Являются въ камеру, выводятъ на прогулку и проч. обязательно вдвоемъ. Шпіонство другъ за другомъ и всѣхъ вмѣстѣ за арестованными необычайное. Обыски въ камерѣ почти каждый день, когда водятъ на прогулку, которая продолжается

*) Электричество проведено только въ 1904 г. Раньше освѣщалось керосиновыми лампами, а послѣ исторіи съ Вѣтровой — свѣчами.

12—15 минутъ. Платье тоже подается только на это время.

Потекли дни тусклые, сѣрые, однообразные. Книгъ нѣтъ, переписки нѣтъ, свиданій нѣтъ. Мучитъ все вопросъ: какимъ образомъ арестовали? Неужели выслѣдили и вся сложная система конспираціи, на которую такъ разсчитывали, оказалась негодной?*) Что они знаютъ изъ дѣла? Кого еще запутали? Кого арестовали? Ни узнать что-либо, ни дать знать нѣтъ возможности. Являлся нѣсколько разъ Трусевичъ, но такъ какъ я наотрѣзъ отказался давать показанія и просилъ меня не тревожить — меня оставили.

Прошелъ мѣсяцъ, прошелъ другой. Въ серединѣ іюля приносятъ платье: одѣваться**). При-

*) Потомъ уже, по выходѣ изъ Шлиссельбурга, мнѣ передавали, что причина ареста будто бы предательство какого-то студента, сидѣвшаго какъ разъ у той дамы, по адресу которой пришла въ Кіевъ телеграмма. Студентъ будто бы разузналъ, что телеграмма означаетъ мой пріѣздъ и за извѣстную сумму продалъ это извѣстіе жандармамъ. Идетъ эта версія изъ различныхъ оффиціальныхъ источниковъ, но насколько это вѣрно — судить не берусь. Знаю только одно: выслѣженъ не былъ и жандармерія даже не знала, откуда я прибылъ въ Кіевъ.

**) Тамъ никогда не говорятъ, зачѣмъ васъ вызываютъ: одѣваться! И вы, идя съ жандармами, не знаете, на допросъ ли, на свиданіе-ли, къ доктору-ли, на очную ставку или на какое-либо другое жандармское примѣненіе.

водятъ въ допросную. Смотрю знакомцы: Трусевичъ съ жандармскимъ полковникомъ.

— ?!

— Вамъ вручается дополнительное обвиненіе по участіи въ покушеніи на харьковского губернатора — князя Оболенскаго.

— Больше ничего?

— Больше ничего! Обвиненіе предъявлено на основаніи показаній и чистосердечнаго раскаянія Качуры...

Внутренне передергиваетъ, но сейчасъ же успокаиваешься: жандармскій фокусъ! Стараешься сохранять хладнокровіе.

Трусевичъ, желая, очевидно, поразить и вызвать на разговоръ, пускается въ откровенности: подъ вліяніемъ чего и что говорилъ Качура, что теперь его «помилуютъ и значительно смягчатъ участь» и проч., и проч. Но попутно было упомянуто нѣсколько подробностей, которыя они могли узнать только со словъ самого Качуры. Мысль работаетъ быстро и мучительно.

Стараешься схватить положеніе дѣла: жандармская это ловушка или, дѣйствительно, Качура палъ? Сопоставляешь мелочи: страшная мысль, какъ стальная игла, пронизываетъ мозгъ — нѣтъ сомнѣнія: это слова и показанія Качуры.

Въ душѣ поднимается невѣроятный адъ. Мгновеніе — и все передъ глазами поплыло. Дѣлаешь надъ собой невѣроятное усиліе, и, сохраняя наружное спокойствіе, стараешься возможно скорѣе отдѣлаться отъ нихъ. Въ камеру! Скорѣе-бы въ камеру!

Гулко гремитъ засовъ — ты одинъ. Въ мозгу поднимается что-то большое, большое, чудовищно безобразное. Точно щупальцы спрута охватываютъ тебя всего желѣзными тисками и какой-то давящій замогильный холодъ леденитъ сердце.

Знаете-ли вы, что такое смертельный ужасъ? Вотъ тогда пришлось испытать его! Ужасъ за человѣка, ужасъ за сложность и таинственность того, что называется человѣческой душой. Давящимъ призракомъ стоитъ: Качура — предатель! Умъ отказывается вѣрить, а не вѣрить — нельзя.

Воображеніе лихорадочно и тревожно работаетъ, представляя себѣ тѣ муки и пытки, которыя въ состояніи были сломить Качуру, и этого крѣпкаго, вѣрнаго, сознательнаго человѣка, кумиръ и гордость рабочихъ кружковъ, превратить въ предателя, клеветника и злостнаго оговорщика. Болью и мукой всегда отзывается такое паденіе революціонера. Но когда вы въ тюрьмѣ, когда васъ ждетъ тотъ же неизвѣстный тернистый путь

царскихъ застѣнковъ, когда васъ собирается поглотить та-же мрачная, таинственная пасть россійскаго правосудія, это нравственное паденіе пріобрѣтаетъ для васъ особенно зловѣщій характеръ.

Онъ палъ, а выдержишь-ли ты? Какъ провѣрить свои силы? Что сдѣлать, чтобы съ увѣренностью можно было сказать себѣ: выдержу! и спокойно идти навстрѣчу злобнымъ и преступнымъ измышленіямъ правительства?

Много пришлось пережить въ жизни тяжелыхъ, давящихъ минутъ. Но такихъ мучительныхъ, такихъ леденящихъ и опустошающихъ душу моментовъ не представлялъ себѣ.

Вслѣдъ затѣмъ для меня выяснился предательскій ходъ Плеве.

Рѣшено было не создавать большого процесса Партіи Соціалистовъ-Революціонеровъ, а выдѣлить нѣсколько человѣкъ, сгруппировать ихъ вокругъ террористическихъ актовъ и создать Боевую Организацію, но всю — безъ остатка. Общественное значеніе процесса, это сразу видно было, въ виду искусственнаго подбора, должно было быть ничтожное.

Глава V.

Больше мѣсяца никто не тревожилъ. Въ послѣднихъ числахъ августа, въ шесть вечера, когда

разносится ужинъ, въ камеру открывается дверь. Арестованные имѣютъ у себя большія кружки для кипятку. Когда жандармы разносятъ миски съ ужиномъ, обыкновенно навстрѣчу идешь съ кружкой. Слыша, что открывается дверь, въ полной увѣренности, что это унтеръ съ миской, не оглядываясь, направляюсь съ большой кружкой въ рукахъ. Не успѣлъ оглянуться — ко мнѣ вплотную, съ палкой въ рукѣ, съ быстротой кошки, тревожно впиваясь глазами подскакиваетъ..... Плеве!

Подскочилъ такъ близко, точно обнять хотѣлъ. Очевидно, мое невинное, съ самыми благородными намѣреніями шествіе навстрѣчу съ глиняной кружкой всероссійскій самодержецъ понялъ очень дурно. Нѣсколько секундъ мы стояли другъ противъ друга.

Дверь по его приказанію была закрыта, и мы были совершенно одни.

— Имѣете что сказать мнѣ? — проговорилъ онъ довольно отрывисто.

Такъ какъ я его появленія совершенно не ждалъ, и оно было такъ стремительноя, вѣроятно, не сразу сообразилъ, что ему отвѣтить и отдѣлался только восклицаніемъ — «Вамъ?!»

Но, должно быть, это одно слово вырвалось слишкомъ выразительно.

Онъ вылетѣлъ такъ-же быстро, какъ влетѣлъ. Больше «не встрѣчались», и всѣ разсказы о его посѣщеніяхъ не болѣе, какъ легенды. Чего ему надо было, такъ и не узналъ, но слышалъ, что онъ остался визитомъ очень недоволенъ.

Нѣсколько мѣсяцевъ, къ моему великому удивленію, меня больше не тревожили, что не мало тревожило за то меня. Чего медлятъ? Самое подходящее, казалось-бы, расправиться имъ лѣтомъ, въ мертвый петербургскій сезонъ. Очевидно, вышли какія-то осложненія, но какія? Послѣ паденія Качуры каждый разъ, когда кто-нибудь проходилъ мимо камеры, сердце застывало: «на допросъ», думаешь съ трепетомъ, «опять какое-нибудь предательство!...»

Прошло лѣто, прошла осень. Настали дни безъ свѣта — сплошныя сумерки. Въ полдень безъ свѣчи ничего не видно. Граница дня и ночи утеряна. Трусевичъ не тревожитъ. Душевныя раны начинаютъ понемногу заживать. Съ неволей свыкаешься. Первое время всякій звукъ, всякій шорохъ съ воли поднимаетъ, какъ вспугнутую птицу. Душа рвется наружу и бьется о тюремныя рѣшетки. Всѣ мысли тамъ, на волѣ. Это днемъ, а ночью — побѣги. Безконечные побѣги, самые замысловатые, самые фантастическіе. И всѣ кончаются неудачей, и въ моментъ провала, обли-

ваясь потомъ, съ сильно бьющимся сердцемъ, просыпаешься, чтобы, заснувъ, снова бѣжать! *)

Но постепенно сживаешься. Обрѣтается даже какой-то покой душевный.

Каждый лишній день — вѣдь, это даръ судьбы или вѣрнѣе нераспорядительности начальства. Такъ, никѣмъ не тревожимый, дотянулъ до конца ноября, когда дверь камеры открылась и снова принесли платье: одѣваться!

Ведутъ въ ту-же допросную комнату, тамъ тотъ-же очаровательный Трусевичъ. Парадный, торжественный. На столѣ фоліанты: «дѣло».

— Дознаніе по вашему дѣлу закончено и получаетъ дальнѣйшее направленіе. Желаете чѣмъ дополнить слѣдственный матеріалъ?

— Не я наполнялъ, не я буду дополнять. Заявленіе принципіальнаго характера пришлю на имя прокурора.

Разстались довольно холодно. Теперь, значитъ, скоро! «Дѣло получаетъ дальнѣйшее направленіе» — это значитъ на нѣсколько дней въ военный судъ, а затѣмъ — на тотъ свѣтъ. Конецъ ноября. Къ Рождеству, значитъ, должны

*) Побѣги преслѣдуютъ безнадежно арестованныхъ очень долго — цѣлыми годами. Черезъ два года, когда увидѣлся со старыми шлиссельбуржцами и провѣрилъ свои впечатлѣнія, оказалось, что эти кошмары ихъ преслѣдовали лѣтъ по 6—10.

кончить. Надо торопиться съ принципіальнымъ заявленіемъ, чтобы попало въ обвинительный актъ. Все время медлилъ, такъ какъ надѣялся, что удастся хоть приблизительно узнать, что у нихъ за матеріалъ имѣется. Къ дѣлу было привлечено нѣсколько человѣкъ, никакого отношенія къ Боевой Организаціи не имѣвшихъ. Очевидно, данныя у нихъ какія-то спутанныя. Зналъ, что главнымъ образомъ строится на оговорахъ. Если такъ, то мнѣ неудобно признавать правильность оговора въ части, касающейся меня, такъ какъ этимъ косвенно подтверждается «доброкачественность» оговора и по отношенію къ другимъ. Рѣшилъ выждать, а пока сдѣлать заявленіе общаго характера съ объясненіемъ дѣятельности Партіи Соціалистовъ-Революціонеровъ и признаніемъ себя членомъ ея.

* *
*

Черезъ нѣсколько дней, поздно вечеромъ, уже послѣ повѣрки, вдругъ будятъ: одѣвайтесь! Вводятъ въ квартиру полковника (завѣдующаго тюрьмой). Навстрѣчу поднимается какой-то господинъ въ черномъ сюртукѣ. Жандармы уходятъ, и мы остаемся наединѣ. Милъ, любезенъ, предупредителенъ и корректенъ.

— Я къ вамъ по порученію министра внутреннихъ дѣлъ.

— ?!

— Вы, конечно, уже знаете, что дѣло ваше передано въ военный судъ, вѣрнѣе военно-полевой судъ.

Пауза. Постукиваетъ пальцами по столу.

— Можно говорить откровенно? У васъ, вѣдь, нервы крѣпкіе, не правда-ли?

— Да, пожалуйста!

— Приговоръ по 279 ст. извѣстный и заранѣе готовый. Вы, вѣдь, знаете! Но я вамъ долженъ прямо сказать: правительство не хочетъ казни, т. е. вѣрнѣе, охотно пойдетъ навстрѣчу отмѣнѣ казни. Выслушайте меня спокойно. Я хорошо знаю, съ кѣмъ имѣю дѣло и далекъ отъ мысли предлагать вамъ какія-нибудь сдѣлки, откровенныя показанія и проч. Вы свое дѣло сдѣлали. Пощадите свою жизнь!

— Съ какого это времени Плеве такъ тревожится и заботится о жизни революціонеровъ?

— Дѣло не въ этомъ. Оставимъ Плеве въ сторонѣ. Скажу вамъ только, что вы напрасно предполагаете въ Плеве такую жестокость. Повторяю: правительство готово оставить вамъ жизнь . . .

— Подъ условіемъ? . . .

— Да, конечно, подъ условіемъ. Но чисто формальнаго характера. Вы не давали никакихъ

показаній. Это ваше право. Но это придаетъ специфическій оттѣнокъ вашему отношенію къ правительству, оттѣнокъ, такъ сказать, пренебрежительный. Не смѣйтесь; это такъ. Повторяю, я не предлагаю вамъ давать показанія. Все, что отъ васъ требуется — подтвердить правильность обвиненія, хотя бы въ тѣхъ пунктахъ, которые явно несомнѣнны. Признайте себя членомъ Боевой Организаціи — больше ничего не требуется, и вамъ гарантируется отмѣна смертнаго приговора. Вы хорошо понимаете, что тутъ никакой ловушки вамъ не устраивается: для осужденія васъ военнымъ судомъ вполнѣ достаточно данныхъ и безъ вашего признанія.

— Коротко и ясно: за признаніе себя членомъ Боевой Организаціи вы предлагаете мнѣ такую хорошую плату, какъ жизнь? Для меня до сегодняшняго дня не ясно было — объявлять себя таковымъ или нѣтъ. Теперь мнѣ ясно: нѣтъ!

— Что за странная логика?

— Видите-ли: разъ, что вы даете за это признаніе такую хорошую плату, значитъ это для васъ выгодно. А если выгодно для васъ, то для насъ убыточно — дѣло просто. Я еще не знаю, въ чемъ тутъ дѣло, для чего вамъ все это нужно. Или, быть можетъ, вамъ просто неудобна теперь

казнь — не знаю. Но за то теперь я знаю, что̀ для насъ удобно и выгодно.

Посланникъ — онъ оказался вице-директоромъ Макаровымъ — часа три упорно доказывалъ, что «для блага родины, которой вы отдаете свою жизнь» я обязанъ это сдѣлать и «не лѣзть въ петлю». Покончили на томъ, что «если въ петлю и не лѣзть, то и карабкаться изъ нея нѣтъ надобности»...

Этотъ разговоръ, вѣрнѣе предложеніе, заставилъ насторожиться. Что здѣсь нѣтъ ловушки, что имъ не требовалось мое признаніе для того, чтобы повѣсить — это было ясно. Значитъ, имъ нужно для чего-то другого. Но для чего-то важнаго, такъ какъ плата-то ужъ больно большая. Ясно, такимъ образомъ, что членомъ Б. О. пока себя признавать нельзя. Надо выжидать и быть настророжѣ.

Черезъ два дня поздно вечеромъ та-же исторія. Макаровъ «въ виду близости суда и развязки считаетъ своимъ долгомъ сдѣлать вторичную попытку спасти жизнь».

— Бросимъ это. Я не хочу васъ оскорблять. — можетъ быть, у васъ-то лично никакихъ заднихъ мыслей и нѣтъ. Но, вѣдь, вы хорошо понимаете всю безнадежность вашей миссіи. Или въ самомъ дѣлѣ вы такъ чужды психологіи ре-

волюціонера? Хорошо, я противъ обыкновенія буду съ вами откровененъ: мы столкнулись съ вами при такихъ исключительныхъ обстоятельствахъ. Кто васъ знаетъ — быть можетъ, вы и въ самомъ дѣлѣ честный человѣкъ — семья, вѣдь, не безъ урода! Запомните-же, чтобы вамъ впредь въ сношеніяхъ съ революціонерами не терять лишняго времени. Вы тамъ, въ департаментахъ, конечно, вполнѣ искренно увѣрены, что мы идемъ въ революцію такъ себѣ: кто по увлеченію, кто по модѣ, кто разсчитывая на безнаказанность, кто просто не отдавая себѣ отчета и проч. Вы не понимаете, что взрослый сознательный человѣкъ, порывая со всѣмъ прошлымъ и бросаясь въ революцію, продуманно рѣшаетъ вопросъ всей своей жизни. Разрывая со старой и входя въ новую жизнь — для него внѣ этой жизни нѣтъ ничего. Компромиссы съ совѣстью дѣлались тамъ, въ старой жизни. Въ новой ихъ нѣтъ: потому-то въ новую и ушелъ, чтобы избавиться отъ компромиссовъ. Ждетъ-ли насъ въ новой жизни депутатское кресло въ парламентѣ, высылка въ Сибирь или висѣлица — вѣрьте, мы надъ этимъ не много думаемъ, такъ какъ себѣ то пріуготовляемъ послѣднее.

Критеріемъ нашихъ дѣйствій является одно и только одно — запомните это — благо и ин-

тересы трудового народа, въ томъ, конечно, видѣ, какъ мы то понимаемъ, т. е. благо и интересы революціи. Критерій дѣйствій правительства — прямо противоположный: все хорошо, что плохо для революціи. Мы и вы — два непримиримыхъ лагеря. Общихъ интересовъ у насъ нѣтъ и быть не можетъ. Интересы наши враждебны и прямо противоположны другъ другу. Стало быть то, что хорошо, полезно, выгодно для васъ — дурно, вредно и невыгодно для насъ.

— Вамъ почему то нужно мое заявленіе о принадлежности къ Боевой Организаціи — этого одного для революціонера достаточно, чтобы такимъ заявленіемъ не торопиться. Жизнь изъ рукъ Плеве, да и вообще изъ какихъ бы то ни было «вражьихъ» рукъ, мы не принимаемъ.

Есть еще одно обстоятельство. Я еврей. Вы вѣдь, а равно и тѣ, которые достаточно глупы, чтобы вамъ вѣрить, твердятъ, что евреи стараются уходить отъ опасности, что вслѣдствіе трусости избѣгаютъ висѣлицы. Хорошо! Вамъ будетъ дано увидѣть примѣръ «еврейской трусости»! Вы говорите, что евреи умѣютъ только бунтовать? Вы увидите, умѣютъ ли они умирать. Скажите вашему Плеве: торговаться, сговариваться намъ не о чемъ. Пусть онъ дѣлаетъ свое дѣло: я свое сдѣлалъ!..

Поздно ночью повели обратно въ камеру. Въ длинномъ сводчатомъ корридорѣ какой-то зловѣщій, давящій полумракъ. Тусклыя лампы едва мерцаютъ. Клѣтки, клѣтки, клѣтки!... И всѣ подъ замкомъ. И въ каждой томится юная душа, въ этотъ полночный часъ обвиваемая призраками, сдавливаемая кошмарами!... Обитель скорби и печали, проклятье нашихъ дней — когда она, наконецъ, рухнетъ!...

Вотъ и моя клѣтка. Тихо колышется пламя свѣчи, откидывая громадныя тѣни по стѣнамъ. Хлопаетъ дверь, гремитъ замокъ. Ты снова одинъ со своими думами, своими сомнѣніями. Что тамъ — на волѣ? Что обозначаютъ настойчивыя убѣжденія Макарова? Какія козни они тамъ опять строятъ? Чувствуя себя окруженнымъ со всѣхъ сторонъ ловушками, стараешься слѣдить за каждымъ своимъ шагомъ, за каждымъ словомъ.

Ясно, по крайней мѣрѣ, одно: скоро все кончится. Черезъ пару дней вручатъ обвинительный актъ, потомъ «судъ». Къ Рождеству все будетъ готово. Надо и самому подготовиться....

Глава VI.

Опять поплыли дни. Томительное ожиданіе и полная, тревожная неизвѣстность. Очевидно

вышло какое-то осложненіе, что-то произошло. Но что?! Въ этой неизвѣстности прошло слишкомъ два мѣсяца! Потомъ уже, по выходѣ изъ Шлиссельбурга, узналъ, что «заминка» вышла по слѣдующей причинѣ.

Въ нашемъ дѣлѣ никакихъ данныхъ, собранныхъ самой жандармеріей, не было. Имѣлись только оговоры Григорьева и Качуры. По «закону» политическіе процессы протекаютъ такимъ образомъ: *) сначала производится жандармское дознаніе. Если по окончаніи дознанія является поставленіе прокурора судебной палаты о передачѣ дѣла въ «судъ», то предварительно начинается судебнымъ слѣдователемъ слѣдствіе. Наше дѣло, такимъ образомъ, должно поступить къ слѣдователю.

Но Плеве высказался противъ этого, такъ какъ вполнѣ естественно боялся, что слѣдствіе не сумѣетъ собрать хотя-бы малѣйшія данныя, и наоборотъ, при очной ставкѣ и перекрестномъ допросѣ должны разсыпаться всѣ измышленія Григорьева и Качуры, въ лживости и нелѣпости которыхъ, конечно, и само правительство не сомнѣвалось. Выходъ придуманъ очень характерный для плевенскаго періода: рѣшено было слѣдствія не

*) Послѣднее время, кажется, это «упростили».

производить, а послать въ военный судъ одно жандармское дознаніе.

Но тутъ вышелъ маленькій конфузъ. Должно напомнить, что это происходило въ «до-конституціонное» время, когда «суды» еще не обнаглѣли такъ, какъ теперь. Судъ, получивъ дознаніе, ахнулъ «отъ озорства Плеве», какъ выразился одинъ изъ членовъ суда и послалъ все дѣло обратно, съ предложеніемъ произвести требуемое закономъ предварительное слѣдствіе. Это-то и послужило причиной появленія у меня Макарова.

Судебному слѣдователю, конечно, дѣла передать нельзя было, такъ какъ оно все разсыпалось-бы. Чтобы спасти дѣло, рѣшено было лучше отмѣнить смертный приговоръ, но получить мое признаніе въ принадлежности къ Боевой Организаціи. Это, во-первыхъ, склонило-бы судъ принять дѣло безъ слѣдствія, въ виду наличности признанія, а во-вторыхъ, было бы косвеннымъ подтвержденіемъ правильности оговоровъ Григорьева и Качуры въ отношеніи и къ другимъ обвиняемымъ.

Въ поискахъ выхода дѣло затянулось. Кончилось въ концѣ концовъ тѣмъ, что г. г. министры промежъ себя переговорили и убѣдили военный судъ принять дѣло съ матеріаломъ только одного дознанія. Но на это потребовалось время.

4-го февраля приносятъ платье: одѣваться! Я думалъ, что, наконецъ, дали свиданіе и что, быть можетъ, удастся хоть намекомъ узнать, почему попечительное начальство забыло обо мнѣ. Но ведутъ не въ комнату свиданій (въ Петропавловской крѣпости свиданія даются за двумя рѣшетками), а въ квартиру завѣдующаго. Неужели личное свиданіе дадутъ?

Открывается дверь и въ первую минуту ничего не понимаешь, что тутъ дѣлается. Какой-то чрезвычайно парадный генералъ, какіе-то чины, статскіе во фракахъ...

Скоро дѣло выясняется: это предсѣдатель военнаго суда пріѣхалъ вручить обвинительный актъ; тутъ же защитники; среди нихъ приглашенный съ моего согласія Карабчевскій. Предсѣдатель что-то необыкновенно долго и необыкновенно торжественно выясняетъ, на основаніи какихъ «законовъ» дѣло передано военно-полевому суду, перечисляетъ всѣ права подсудимыхъ, при чемъ оказывается, что ихъ необыкновенно много, вплоть до права въ теченіе 24-хъ часовъ вызвать свидѣтелей.

Съ нетерпѣніемъ ждешь, когда вся эта комедія кончится и останешься наединѣ съ защитникомъ — единственнымъ живымъ человѣкомъ, не изъ вражескаго стана, имѣющимъ на то право.

Послѣ долгихъ томительныхъ церемоній, дверь камеры захлопывается, и вы остаетесь вдвоемъ, только вдвоемъ!*)

— Плеве еще у власти? Живъ?

— Да. Но есть большія новости: вы знаете, что объявлена война?

— Война?! Съ кѣмъ?

— Съ Японіей. Наши крейсеры взрываются, мы уже терпимъ пораженія!...

— Вторая Крымская кампанія? Портъ-Артуръ — Севастополь? Ex oriente lux?

— Похоже на то.

— А какъ страна, охвачена «патріотическимъ» угаромъ, жаждетъ сплотится съ «державнымъ вождемъ»?

— Да, не безъ того, конечно. Но все въ значительной степени вздуто и искусственно. Война непопулярна. Никто ея не ждалъ и никто ея не хочетъ.

Странно! Тутъ, въ полутемной камерѣ Петропавловской крѣпости, такъ ясно стало сразу то, что неясно и туманно рисовалось впереди переживавшимъ событія въ живой жизни. Чувствовалось, что надвигается что-то безконечно грозное, без-

*) Не считая того третьяго, который, конечно, подслушиваетъ у дверей — да сбудется реченное въ писаніи: «гдѣ собрались двое во имя мое, тамъ я третій между ними».

конечно тяжелое, безконечно скорбное, но что оно сыграетъ для страны роль того громового удара, который разбудитъ спящихъ, разорветъ и испепелитъ завѣсу, скрывающую передъ большинствомъ страны истинную суть самодержавнаго режима. И когда онъ обнаружится и станетъ передъ страной въ настоящемъ своемъ видѣ, она устыдится и ужаснется передъ одной мыслью, во что она вѣрила и на что надѣялась...

Долго всѣ разговоры вертѣлись вокругъ развертывающихся событій, въ сравненіи съ которыми наше-то «дѣло», т. е. процессъ, кажется такимъ маленькимъ, незначущимъ. Теперь, говорятъ, Карабчевскій поправѣлъ и отошелъ отъ политической жизни. Долженъ сказать, что въ нашемъ процессѣ онъ все время держался благородно и мужественно. Принятую на себя обязанность быть защитникомъ не личности, а дѣла, которому эта личность служила — онъ выполнилъ добросовѣстно.

Условились, что я предварительно познакомлюсь съ обвинительнымъ актомъ, а завтра поговоримъ о дѣлѣ. Отъ вызова свидѣтелей со стороны защиты отказался.

Глава VII.

Обвинительный актъ по нашему дѣлу составлялся при особыхъ обстоятельствахъ и преслѣдовалъ спеціальныя цѣли. Предо мной они даже этого не скрывали, такъ какъ считали меня человѣкомъ «рѣшеннымъ», который всѣ тайны унесетъ на тотъ свѣтъ; съ такимъ человѣкомъ можно быть откровеннымъ и раскрывать передъ нимъ то, что стараются скрыть передъ всякимъ «не смертнымъ». Особенно откровененъ былъ Макаровъ, да частью и Трусевичъ, но послѣдній уже изъ желанія уязвить.

Убійство Сипягина, по ихъ собственному признанію, произвело на нихъ впечатлѣніе грома.

Всѣ растерялись. Страхъ и растерянность усиливались полной загадочностью и отсутствіемъ всякихъ слѣдовъ. Не смотря на то, что для этого дѣла были направлены всѣ геніи департамента полиціи, вкупѣ съ Трусевичемъ, ничего обнаружить не удалось. Такъ же безрезультатно для нихъ прошло покушеніе на Оболенскаго и уже совсѣмъ «скандально» убійство Богдановича, гдѣ даже непосредственныхъ выполнителей не удалось привлечь.

Но уже послѣ первыхъ двухъ актовъ, какъ извѣстно, въ части революціонной литературы ста-

рались ослабить впечатлѣніе, пытаясь даже доказать, что убійство Сипягина было дѣломъ личной иниціативы С. Балмашева.

Не будучи въ состояніи открыть «корни и нити», ведшіе дознаніе на нетерпѣливые запросы и упреки свыше въ неумѣлости, отвѣчали, что и корней и нитей-то никакихъ нѣтъ, что все это дѣло, вообще, не стоющее, что всѣ партіи противъ террора, исключая кучки лицъ, не имѣющихъ никакихъ связей съ массой. Въ подтвержденіе приводились выдержки изъ нѣкоторыхъ наиболѣе «доказательныхъ и вполнѣ правильныхъ» антитеррористическихъ статей. *)

Такъ легко увѣровать, во что вѣрить хочется! По крайней мѣрѣ, дѣлать видъ, что увѣровалъ. Все стараніе департамента было тогда направлено на то, чтобы доказать, что террористическіе акты являются не результатомъ широко охватившаго массы, вслѣдствіе правительственныхъ звѣрствъ, боевого настроенія, которое все болѣе и болѣе должно усиливаться, — а результатомъ злой воли и озорства нѣсколькихъ лицъ, и само собой разумѣется, евреевъ, излавливающихъ наивныхъ неопытныхъ юнцовъ. Въ «сферахъ» этотъ взглядъ

*) Трусевичемъ была составлена по этому поводу спеціальная докладная записка, которая приложена къ VI тому нашего «дѣла».

былъ сочувственно встрѣченъ и — l'appetit vient en mangeant, — невольно явилась мысль, что хорошо бы этотъ «здоровый взглядъ на существо дѣла» пустить въ общество.

Поручено это было «сихъ дѣлъ мастеру» — Трусевичу. Обработали и соотвѣтственно наставили Григорьева и Качуру, продиктовали достодолжныя, «чистосердечныя» показанія и сфабриковали изъ нихъ обвинительный актъ, который предполагалось напечатать въ Правительственномъ Вѣстникѣ. «Сферы» заранѣе предвкушали пораженіе крамолы и ликовали. Но на судѣ сейчасъ-же съ несомнѣнностью обнаружилась вся лживость и вздорность показаній Григорьева; Качура изъ своихъ показаній многое взялъ обратно, словомъ, ясно стало, что не все такъ просто, какъ выставляетъ департаментъ полиціи, и что если ничего не обнаружено, то, быть можетъ, только потому, что «нити и корни» хорошо были скрыты, а Качура и Григорьевъ то толкомъ ничего и не знаютъ.

Мнѣнія насчетъ напечатанія обвинительнаго акта раздѣлились. Еретики говорили, что какъ бы конфузъ не вышелъ и «разоблаченіе» не кончилось тѣмъ, что на казенный счетъ будетъ напечатана нелегальщина. Къ этому въ концѣ концовъ склонились всѣ и рѣшено было не только не оглашать обвинительнаго акта, но вообще умолчать

о всемъ дѣлѣ; въ результатѣ — единственный въ своемъ родѣ финалъ: не былъ даже напечатанъ приговоръ!

Таково значеніе и характеръ обвинительнаго акта съ одной стороны. Съ другой онъ представлялъ собой живой и яркій документъ паденія слабой человѣческой души, когда она, охваченная желаніемъ вырваться на свободу, смягчить грозящую отвѣтственность, попадаетъ въ опытныя руки г. г. Трусевичей, умѣло и быстро опутывающихъ свои жертвы со всѣхъ сторонъ и превращающихъ ихъ въ лжецовъ, клеветниковъ и предателей. Но при всемъ томъ легко себѣ представить то невѣроятно тягостное впечатлѣніе, которое долженъ былъ на первыхъ порахъ произвести обвинительный актъ на тѣхъ, противъ кого онъ былъ направленъ.

Ни одно дѣло, ни одинъ крупный процессъ не обходится безъ предателей. Въ дѣлахъ, гдѣ впереди виднѣется висѣлица, повидимому, нельзя добиться, чтобы всѣ одинаково стойко дошли до конца. Но какъ бы вы теоретически ни знали это, все же ничто не можетъ сравниться съ мукой, когда въ вашемъ дѣлѣ оказывается предатель.

Какъ жандармерія ни старалась скрывать всѣ свои хитросплетенія, носящія названіе «дознаніе», оказалось, что и для нихъ «нихъ ничего тайнаго,

что не стало бы явнымъ». Лопухинъ и Трусевичъ увѣряли, что если я не буду давать показанія, то съ актами дознанія не ознакомлюсь. Но когда послѣ врученія обвинительнаго акта, я перешелъ въ вѣдѣніе военнаго суда и послалъ заявленіе, что желаю просмотрѣть «слѣдственный матеріалъ», послѣдній немедленно былъ доставленъ. Семь громадныхъ томовъ! Боги, чего, чего только тамъ ни наворочено. Вотъ ужъ подлинно — «тутъ есть все, коль нѣтъ обмана». Даже членъ суда, показывавшій «дѣло», не могъ удержаться отъ улыбки и безнадежно махалъ рукой, когда перелистывалъ «слѣдственный матеріалъ».

Тутъ же ознакомился съ «покаянными чистосердечными показаніями» Качуры. Записка писана не его рукой, но имъ подписана (Качура хорошо-грамотный, писалъ даже стихи). Стиль правительственныхъ опроверженій. Въ первомъ же показаніи изъ Шлиссельбургской крѣпости уже называетъ меня настоящей фамиліей, хотя дальше самъ же указываетъ, что даже клички не зналъ.

Цѣлый рядъ совершенно нелѣпыхъ и безсмысленныхъ показаній о людяхъ и группахъ, съ которыми никогда не встрѣчался и о дѣятельности которыхъ не имѣлъ никакого представленія.

Такой-же характеръ, но еще болѣе сумбурный, носили показанія Григорьева, занявшія до 100

листовъ мелко исписанной бумаги. Въ обоихъ были отвѣты рѣшительно на все и обо всемъ, что дѣлалось въ партіи. Но такъ какъ эти люди о $^9/_{10}$ партійной дѣятельности не имѣли никакого представленія, то совершенно ясно, что это геніальный Трусевичъ вопрошалъ, и самъ-же отвѣтъ держалъ.

Легко себѣ представить, какой получился «богатый» матеріалъ. Но, увы! Геній поплатился за свою жадность. Онъ отъ ихъ «чистосердечныхъ» показаній столько хотѣлъ получить, что въ концѣ концовъ послѣднія потеряли даже для департамента полиціи всякую цѣну, невѣроятно запутавъ все и вся.

Глава VIII.

Судъ былъ назначенъ на 18 февраля. Чтобы не возить взадъ и впередъ изъ военнаго суда, засѣданія были перенесены въ помѣщеніе окружного суда; а насъ рѣшено было перевести въ предварилку.

Утромъ 17-го подали одѣваться. Подъ сильной охраной вывели за ворота. Тамъ пять каретъ. У каждой по офицеру и двумъ унтерамъ. Захлопнули дверцы, опустили шторы и поѣхали на судъ скорый, правый и милостивый.

Пріѣхали въ предварилку, которая послѣ крѣпости показалась раемъ. Помѣстили въ нижнемъ этажѣ, въ изолированномъ корридорѣ, камера № 25.

Надо готовиться къ битвѣ. Выше уже упомянулъ, что когда дѣло перешло отъ жандармовъ къ прокурору судебной палаты, мною было послано на его имя для пріобщенія къ дѣлу и внесенія въ обвинительный актъ заявленіе принципіальнаго характера о дѣятельности Партіи и о роли въ ней террора. Въ обвинительномъ актѣ говорится коротко: такой-то отъ показаній и объясненій отказался. Когда я при ознакомленіи съ дѣломъ выразилъ желаніе увидѣть мое заявленіе, членъ суда съ недоумѣніемъ замѣтилъ, что никакого заявленія у нихъ въ бумагахъ нѣтъ. Департаментъ полиціи, очевидно, не переслалъ. «Это съ нимъ бываетъ, — ѣдко замѣтилъ онъ, — очевидно не по нраву пришлось.» Я рѣшилъ главную часть заявленія ввести въ свою рѣчь*), но говорить эту часть не пришлось, такъ какъ на судѣ уже предсѣдатель заявилъ, что заявленіе прислано и имѣется въ дѣлѣ.

Днемъ явился помощникъ Карабчевскаго Б. Т. Бартъ (сынъ Г. А. Лопатина), условились относительно завтрашняго дня.

---

*) Весной 1906 года это заявленіе кѣмъ-то было выужено изъ архива и напечатано въ журналѣ «Арабески».

Насталъ, наконецъ, и онъ — этотъ долгожданный день. Утромъ ввалилась цѣлая ватага надзирателей и помощниковъ. Обыскали самымъ тщательнымъ образомъ. Въ корридорѣ какая-то суета, хлопаютъ двери. Изъ корридора кричатъ: «25-ый веди.»

— Пожалуйте!

Вывели въ корридоръ, повели мимо совѣщательныхъ комнатъ въ корридоръ, соединяющій предварилку съ судомъ.

Десять жандармовъ въ парадной формѣ, выстроившихся въ рядъ, нѣсколько офицеровъ. Ставятъ между жандармами. Съ краю стоитъ уже Вайценфельдъ. Такъ вотъ, кто это! Я по фамиліи его не зналъ и никакъ не могъ догадаться, кого это Качура оговорилъ и выставилъ своимъ искусителемъ. Въ прошломъ году разъ встрѣтился съ нимъ по дѣлу екатеринославской типографіи. Къ Боевой Организаціи, насколько я зналъ, не имѣлъ никакого отношенія. Вайценфельдъ стоялъ между жандармами бодро, закинувъ голову назадъ. Только мы съ нимъ поздоровались — ведутъ Л. А. Ремянникову. За нее особенно все время болѣла душа. Это была скромная работница, молча, незамѣтно готовая отдать свою жизнь дѣлу. Въ Боевой Организаціи не участвовала, но негодяю Григорьеву, а особенно его женѣ

почему то вздумалось наплести на нее рядъ небылицъ, и ее привлекли къ дѣлу, съ угрозой, по крайней мѣрѣ, Шлиссельбурга. Держалась все время стойко и мужественно. Вотъ и Григорьева ведутъ. Глаза смотрятъ въ сторону, лицо блѣдное, тревожное.

Конвой выстраивается. Раздается команда: «Шашки-и-и вонъ!» Раздается лязгъ шашекъ, отъ котораго невольно вздрагиваешь. «Напра-аво-о!» «Ша-аго-омъ маршъ!»

Гремитъ глухая желѣзная дверь, открывающая ходъ въ узкій темный корридоръ, ведущій въ залъ засѣданій. Подъ сводами гулко отдаются многочисленные шаги, звенятъ шпоры.

Весь громадный корридоръ наполненъ жандармами, полиціей и шпіонами. Проходишь точно сквозь непріятельскій строй, но плѣнникомъ себя не чувствуешь.

* *
*

Конечно, процессъ испорченъ; но все жъ «душа кипитъ и къ бою рвется». Летишь мысленно туда, въ эту залу, гдѣ скоро встрѣтишься лицомъ къ лицу съ этой державной кликой. Слова, отравленныя жгучимъ ядомъ народной ненависти, бросишь имъ въ лицо и громко скажешь имъ то,

чего они слушать не хотѣли, когда мы говорили тамъ, на волѣ.

Здѣсь они въ нашихъ рукахъ, здѣсь мы заставимъ ихъ слушать! Настроеніе поднимается все выше и выше... На скамью поднимаешься, какъ на трибуну.

Начинаешь оглядывать залъ. Рядомъ съ нами — защита. Противъ насъ, на мѣстахъ присяжныхъ засѣдателей размѣстились «чины». Въ залѣ жандармы, жандармы и жандармы. Ни одного осмысленнаго, ни одного вдумчиваго лица. Ни сочувствія, ни ненависти, ни злобы. Просто любопытство: вялое, холодное любопытство обывателя.

Въ душу прокрадываются пустота и уныніе. Настроеніе начинаетъ падать. И это-то враги? Съ ними-то тутъ воевать? Словомъ выяснять нашу правоту?

Передъ вами холодные, равнодушные люди, по долгу службы пошедшіе на «судъ» и мечтающіе только о томъ, чтобы какъ можно скорѣе все это кончилось. Какъ тутъ говорить? Передъ кѣмъ тутъ говорить?!...

Начинается глупѣйшая, безконечная военно-юридическая комедія. Предсѣдатель — баронъ Остенъ-Сакенъ священнодѣйствуетъ. «Судьи» скучаютъ и рисуютъ лошадокъ. Прокуроръ — безсмертный Павловъ — сидитъ, какъ изваяніе, съ

опущенными рѣсницами, но зорко изъ-подъ нихъ, какъ тигръ, слѣдитъ, чтобы не упустить добычи и во время наброситься на противника.

Неимовѣрныхъ усилій требуется, чтобы заставить себя принимать участіе въ дѣлѣ. Къ языку точно гири привѣшены и съ громаднымъ трудомъ выжимаешь изъ себя слова. Легко говорить передъ друзьями, легко говорить передъ сознательными врагами. Но эти мундирныя, холодныя души — какая это мука передъ ними говорить!....

Глава IX.

Всѣ обвиненія опирались, главнымъ образомъ, на показаніяхъ Григорьевыхъ и Качуры. Григорьевъ производилъ даже на «чиновъ» жалкое впечатлѣніе изломаннаго, исковерканнаго въ рукахъ жандармеріи человѣка. Большую часть оговоровъ, припертый къ стѣнѣ, сейчасъ же бралъ обратно и еслибъ не его злой геній-защитникъ Бобрищевъ-Пушкинъ, упорно заставлявшій его поддерживать свои оговоры, онъ чистосердечно сознался бы, что все это сплелъ по глупости, по трусости и подъ давленіемъ жандармеріи.

Болѣе злостной и отвратительной была его жена — Юрковская, все время корчившая изъ себя кающуюся Магдалину. Вольтеръ правъ: Когда

женщина падаетъ, она падаетъ всегда ниже мужчины. Ея упорное стараніе потопить Л. Ремянникову произвело даже на судей отталкивающее впечатлѣніе. Изумительно нагло самообладаніе и хладнокровіе этой женщины: вѣдь она знала, что одного нашего слова достаточно было, чтобы разрушить всѣ ея росказни и посадить ее на мѣсто Ремянниковой. Но она не даромъ выросла въ революціонной семьѣ *) — она знала, что революціонеры не платятъ предателямъ тѣмъ же оружіемъ и смѣло давала свои «показанія». На судѣ выяснились любопытные пріемы жандармеріи, къ которымъ она прибѣгаетъ, когда нужно кого-нибудь толкнуть на путь предательства. Послѣ ареста Григорьева, Юрковская нѣкоторое время держала себя прилично. Сама прибѣжала къ Ремянниковой, жаловалась, что очень боится за него, какъ бы по глупости и изъ боязни одиночки не напуталъ чего.

Жандармы и, главнымъ образомъ, Трусевичъ, съ одной стороны грозили Юрковской арестомъ, а Григорьеву доказывали, что онъ долженъ повліять на нее, чтобы она тоже давала откровенныя показанія. Для этой цѣли ихъ оставляли наединѣ и давали такія «удобныя» свиданія, что въ февралѣ

---

*) Отецъ ея полякъ, сосланный за возстаніе 63-го года. Вся семья очень приличная.

1904 г., т. е. черезъ годъ послѣ ареста, Юрковская родила. Пріемы недурные!

Какъ извѣстно, показанія Григорьевыхъ, если откинуть всѣ ихъ противорѣчія, явныя несообразности и нелѣпости по отношенію къ цѣлому ряду лицъ, которыхъ они даже никогда не встрѣчали, сводятся къ слѣдующему.

Офицера Григорьева завлекли, искусственно взвинтили и тѣмъ заставили принять участіе въ террористическихъ актахъ. Она, Юрковская, изъ привязанности и любви къ своему мужу и изъ отвращенія къ насилію, вообще, конечно, всячески старалась мѣшать кознямъ искусителей, пока, наконецъ, совершенно не порвала съ ними.

Теперь это уже «дѣла давно минувшихъ дней». Григорьевы, вѣроятно, въ жандармеріи свои люди, да и всѣ прошлые «грѣхи» давнымъ давно прикрыты амнистіями.

Теперь, безъ боязни повредить имъ, можно поднять маленькій уголокъ завѣсы, которая до поры до времени давала имъ возможность укрываться. Вотъ, въ короткихъ словахъ, истина объ этой, до сихъ поръ остававшейся темной исторіи.

Григорьевъ съ цѣлой группой своихъ товарищей-офицеровъ былъ рекомендованъ, какъ «сочувствующій». При ближайшемъ знакомствѣ съ

ними, группа эта оказалась совершенно никчемной, типично «офицерской», и ее забросили.

Григорьевъ тѣмъ временемъ перебрался въ Петербургъ, въ академію. Съ нимъ завели сношенія, имѣя въ виду использовать его для распространенія литературы среди офицеровъ-академистовъ. Этимъ онъ и занялся. Этимъ его дѣятельность ограничивалась. За все время подготовленія акта 2-го апрѣля, Григорьевъ не имѣлъ объ этомъ никакого представленія и никакого участія, хотя бы косвеннаго, въ этомъ не принималъ. Григорьева, правда, постоянно указывала, что она вообще никакой революціонной работы не признаетъ, кромѣ террора, что на это она бы съ готовностью и охотой пошла. Ихъ участіе, если только это можно назвать участіемъ, началось позже — съ 3-го апрѣля, при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Какъ извѣстно, одновременно съ Сипягинымъ 2-го апрѣля долженъ былъ быть убитъ Побѣдоносцевъ. Ровно въ часъ Сипягинъ пріѣзжалъ въ Маріинскій дворецъ, а Побѣдоносцевъ выѣзжалъ изъ Синода. Къ первому долженъ былъ направиться молодой адъютантъ отъ Сергѣя, ко второму старецъ генералъ флигель-адъютантъ. Благодаря одной изъ совершенно нелѣпыхъ случайностей, такъ часто рушащихъ самые сложные кон-

спиративные планы *), съ «флигель-адъютантомъ» не встрѣтились. Откладывать предпріятія нельзя было, такъ какъ 2-го было послѣднее собраніе комитета министровъ, и Побѣдоносцевъ ушелъ отъ вѣрной смерти. И въ то время, какъ весь Петербургъ ликовалъ по поводу удачнаго акта Степана Балмашова, организація испытывала муки нелѣпаго провала — побѣдоносцевской неудачи.

3-го апрѣля я рѣшилъ выѣхать изъ Петербурга и отправился къ Григорьевымъ за моими дорожными вещами, которыя находились у ихъ знакомыхъ. Это было подъ вечеръ. Какъ только вошелъ къ нимъ — Григорьевъ бросается поздравлять съ «удачей». Юрковская мрачна, какъ ночь.

— Вы чего это, по Сипягинѣ скорбите?

— Не по Сипягинѣ, а по себѣ... Я вѣдь все время съ вами серьезно говорила, думала, если будетъ дѣло, то мнѣ поручатъ... Почему же отъ меня скрыли и не довѣрили мнѣ это сдѣлать?... А я такъ надѣялась, такъ жила этимъ...

Она говорила такимъ надорваннымъ голосомъ и казалась такой убитой, что невольно внушала къ себѣ жалость и участіе. Я началъ ее успокаивать, доказывать, что такія дѣла не дѣлаются

*) Телеграфъ перепуталъ двѣ буквы фамиліи адресата телеграммы, которой назначалось свиданіе къ извѣстному часу. Телеграмма, вслѣдствіе этого, не была получена.

такъ просто, что ея разговоры я считалъ ни къ чему не обязывающими, что вообще я къ этому дѣлу прямого отношенія не имѣю и проч...

Юрковская ничего слушать не хотѣла. Она ждала, она надѣялась, а теперь всѣ ея надежды пропали! Но если ей не хотятъ помочь, то она сама все устроитъ: она твердо рѣшила совершить террористическій актъ. — Сначала я не придавалъ ея словамъ особеннаго значенія, стараясь все успокоить ее. Но видя, что она упорно стоитъ на своемъ, началъ серьезно ее разспрашивать, что же, въ сущности, она намѣрена дѣлать?

— Я рѣшила совершить террористическій актъ; если мнѣ не помогутъ — сдѣлаю все сама, — твердила она.

— А вы что на это скажете? — обратился я къ Григорьеву, все время находившемуся здѣсь же.

— Мы рѣшили идти вмѣстѣ.

— Какъ, и вы?

— Да, что-жъ, ужъ такъ вмѣстѣ, оно лучше!

— Да что вы, господа, шутите, или вы это серьезно? Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ такъ, ни съ того, ни съ сего!...

— Мы рѣшили твердо, прервала Юрковская...

Изъ организаціи всѣ разъѣхались, поговорить не съ кѣмъ было. Люди хотятъ идти, рвутся

напроломъ. Оставить ихъ такъ — пожалуй, еще глупостей надѣлаютъ. Ихъ дѣло — пусть идутъ: не маленькіе!...

Я еще разъ выставилъ передъ ними всю серьезность задуманнаго ими предпріятія, предложилъ хорошо взвѣсить свои силы и рѣшеніе, но они упорно стояли на своемъ: «Намъ ничего не нужно, только пусть помогутъ намъ совѣтомъ и средствами» твердили они.

Вотъ подлинная сцена, происшедшая въ вечеръ 3-го апрѣля, которую Юрковская на судѣ выставила въ такомъ видѣ, что когда она вошла въ комнату, я убѣждалъ Григорьева идти стрѣлять въ Побѣдоносцева, а онъ отговаривался — «мать, сестра маленькая у меня»...

Такъ пишется жандармская исторія.

Рѣшено было, что они выйдутъ завтра въ день похоронъ Сипягина. Онъ въ формѣ офицера, она — гимназистикомъ. Онъ долженъ стрѣлять въ Побѣдоносцева, а когда на мѣсто происшествія явится градоначальникъ, Клейгельсъ, она незамѣтно проберется и выстрѣлитъ въ него.

Наскоро пріобрѣли гимназическій костюмъ, револьверы, привели все въ порядокъ, сожгли всѣ письма, записки, что отняло очень много времени.

На завтра, подъ вечеръ, явился къ нимъ разузнать о происшедшемъ. Оказалось, Побѣдонос-

цева не видѣли, — или его не было, или не удалось пробраться къ нему. Я заявилъ, что завтра уѣзжаю. Григорьевы начали просить, чтобы ихъ не оставлять однихъ, что имъ очень тяжело въ офицерской средѣ, чтобы имъ по крайней мѣрѣ указали, гдѣ они могутъ доставать литературу. Вмѣстѣ съ тѣмъ заявили рѣшительно, что плана покушенія на Побѣдоносцева не оставляютъ.

Больше я съ ними до суда не видѣлся. Настоящихъ, дѣловыхъ сношеній съ ними больше не поддерживали. Правда, бывалъ у нихъ нѣкоторое время одинъ господинъ, который за чаемъ велъ съ ними разговоры о разныхъ планахъ; строили они сообща фантастическія нападенія на Плеве, вплоть до огораживанія улицы, по которой Плеве проѣзжалъ, колючей проволокой, но, конечно, ни та, ни другая сторона серьезно этихъ плановъ не принимала: это были лишь «мечтанія»...

Осенью окончательно было рѣшено изолировать ихъ отъ конспиративной атмосферы. Юрковская выразила желаніе учиться и поступить въ медицинскій институтъ. Ей было дано 50 р. для взноса платы за слушаніе лекцій, доставили уроки, словомъ, старались пристроить. За все это они и отблагодарили клеветой и грязью.

На судѣ Григорьевъ свое предательство объяснилъ довольно чистосердечно: онъ былъ аре-

стованъ по оговору товарища-офицера Васильева и привлеченъ за «участіе въ военномъ заговорѣ». Желая выкарабкаться и убѣдить жандармовъ въ искренности своихъ словъ, онъ рѣшилъ разсказать имъ исторію своего участія въ покушеніи на Побѣдоносцева и Плеве, предполагая, что за это ему отвѣчать не придется, такъ какъ де, это дѣло прошлое. Мнѣ же это повредить, по его мнѣнію, не могло, такъ какъ онъ считалъ меня за границей. Давъ первое наивное показаніе и попавъ въ руки Трусевича, онъ и нагородилъ потомъ 100 листовъ нелѣпостей, которыхъ сами жандармы не могли распутать.

Глава X.

Совсѣмъ другое впечатлѣніе производилъ Качура. Моментъ его появленія былъ потрясающій и глубоко захватывающій по своему трагизму. Онъ появился въ арестантской одеждѣ, подъ охраной двухъ жандармовъ съ обнаженными шашками и сразу уставился на скамью подсудимыхъ. Казалось, онъ былъ пораженъ тѣмъ, что видитъ насъ здѣсь, на судѣ. Взоръ его выражалъ скорбь и не то сожалѣніе, не то упрекъ.

Все замерло. Минута-другая прошла въ глубокомъ молчаніи. Трагедія, разыгрывающаяся въ

его несчастной душѣ, казалось, придавила всѣхъ. Нѣсколько разъ предсѣдатель взволнованнымъ голосомъ пробовалъ окликнуть его: «Качура! Качура!» — но тщетно.

Наконецъ, онъ глубоко вздохнулъ и спросилъ: «что?»

Предсѣдатель предлагаетъ ему разсказать все, что онъ знаетъ по этому дѣлу.

— Я, вѣдь, уже вамъ все сказалъ, — подавленнымъ голосомъ отвѣчаетъ Качура, — развѣ не достаточно? Спрашивайте, что вамъ еще нужно!

Павловъ начинаетъ ставить вопросы. Многое изъ своихъ первоначальныхъ показаній онъ беретъ назадъ. Такъ, признаетъ, что напрасно оговорилъ Вайценфельда, будто послѣдній свелъ его съ Боевой Организаціей.

— Я не хотѣлъ замѣшивать лицъ, находящихся на волѣ, — объяснилъ онъ.

На мой вопросъ, рѣшительно ли утверждаетъ онъ, что человѣкъ, о которомъ онъ говоритъ, есть именно я — онъ отвѣтилъ уклончиво. Лицо другое, хотя сходство есть.

— А голосъ, — спрашиваетъ предсѣдатель, — похожъ?

— Нѣтъ, голосъ какъ будто другой.

— Въ чемъ же сходство?

— Глаза похожіе.

Но существо оговора и моральный его характеръ, т. е., что онъ вовлеченъ въ движеніе, что его искусственно склонили на терроръ и проч., — онъ поддерживалъ и на судѣ.

Поддерживалъ и то, что теперь онъ раскаивается и революціонеровъ считаетъ вредными членами общества.

О способѣ, какимъ получены первыя показанія, отъ самого Качуры удалось узнать слѣдующее: Трусевичемъ ему были предъявлены лѣтомъ 1903 года карточки, гдѣ я снятъ въ ручныхъ и ножныхъ кандалахъ, при чемъ вскользь было упомянуто, что это такой-то, осужденный по дѣлу Оболенскаго.

Впечатлѣніе онъ производилъ крайне тяжелое. Мысль, очевидно, работала съ большимъ трудомъ. Трудно сказать, былъ ли онъ ненормаленъ тогда, или это просто крайняя подавленность психики. Что пережилъ этотъ человѣкъ, такъ и не удалось узнать. *) Но, несомнѣнно, пришлось пережить какую-то безконечно тяжелую драму, если Качура такъ низко палъ, что открыто заявлялъ о враждебномъ отношеніи къ революціонерамъ и о томъ, что его завлекали на терроръ.

*) Уже потомъ, черезъ два года, когда насъ увозили изъ Шлиссельбурга, кое-что узнали — потомъ. Объ этомъ.

Качура появился въ Екатеринославѣ въ 1901 г. вполнѣ сознательнымъ соціалистомъ, принимавшимъ участіе въ движеніи съ 1896 года. Онъ сразу привлекъ широкія симпатіи и довѣріе. У екатеринославскихъ рабочихъ сохранилось его письмо, писанное въ маѣ 1901 года, послѣ демонстраціи, гдѣ рабочихъ били нагайками. Письмо полно силы и революціоннаго огня и дышитъ жаждой террора. Въ августѣ—сентябрѣ того же 1901 года онъ окончательно заявилъ товарищамъ, что никакой работой больше заниматься не будетъ, что онъ рѣшилъ убить Побѣдоносцева, какъ самаго сильнаго и опаснаго врага свободы и знанія. Это дѣло онъ отнынѣ ставитъ цѣлью своей жизни, и если товарищи ему не помогутъ — онъ пѣшкомъ доберется до Петербурга и приведетъ въ исполненіе свой планъ.

Товарищи, знавшіе его непреклонную волю, обѣщали ему содѣйствіе. Къ намъ предложеніе о немъ попало въ октябрѣ 1901 года. Одному изъ членовъ Кіевскаго Комитета поручено было навести о немъ справки. Онѣ оказались очень благопріятными. Качурѣ предложено было не оставлять Екатеринослава, не бросать обще-революціонной работы и обѣщано было, по истеченіи извѣстнаго времени, принять его въ Боевую Организацію. Онъ высказалъ значительную вы-

держку, спокойно дожидаясь призыва въ организацію. Тѣмъ временемъ къ нему продолжали присматриваться, не торопясь давать ему отвѣтственную работу.

Въ 1902 г. Качура перебрался въ Кіевъ и тамъ, кажется, встрѣтился со своимъ пріятелемъ Чепегинымъ, убѣжденнымъ террористомъ. Они другъ другу изливали жалобы на организацію, что тянутъ, не даютъ ничего дѣлать. Послѣ 2-го апрѣля Качура, а за нимъ Чепегинъ настойчиво начали требовать, чтобы ихъ пустили на актъ. При чемъ Чепегинъ заявилъ, что, если его не пустятъ отъ организаціи, онъ пойдетъ самъ. Качура былъ болѣе сдержанъ, заявляя, что онъ готовъ ждать, но чтобы ему опредѣленно сказали, помогутъ ли ему справиться съ Побѣдоносцевымъ.

Чепегинъ, какъ извѣстно, выполнилъ свою угрозу: не получивъ согласія на принятіе его въ организацію, онъ взялъ кухонный ножъ, пошелъ въ лѣтній садъ Купеческаго Собранія съ цѣлью убить Новицкаго, и ранилъ вмѣсто него какого-то невиннаго генерала Вейса.

Случай этотъ произвелъ потрясающее впечатлѣніе на всѣхъ, знавшихъ самоотверженнаго Чепегина. Ясно стало, что у рабочихъ начинаетъ накипать настроеніе, съ которымъ шутить нельзя. Опасаясь, чтобы Качура тоже не выкинулъ какой-

нибудь нелѣпости, рѣшено было окончательно принять его въ Боевую Организацію.

Передъ принятіемъ съ нимъ видѣлся членъ Организаціи, выяснявшій ему всю важность принятаго имъ рѣшенія, указывавшій тѣ опасности, которымъ онъ подвергается, идя на террористическій актъ.

— Помните, Ѳома, отъ васъ можетъ потребоваться нѣчто болѣе тяжелое, чѣмъ умереть: васъ могутъ подвергнуть пыткѣ; увѣрены ли вы въ своихъ силахъ?

— Увѣренъ! — твердо отвѣчалъ онъ. — Пусть на куски рѣжутъ — ничего отъ меня не добьются!

— Ѳома, не забывайте, вы рабочій! Отъ васъ требуютъ больше, чѣмъ отъ интеллигента. Подумайте, какой ужасъ будетъ, если вы не окажетесь на такой же высотѣ, какъ Балмашевъ. Взвѣсьте все; пока еще есть время: вѣдь желающихъ идти на терроръ слишкомъ достаточно. Можетъ быть, вы еще испытаете себя, можетъ быть, вы чувствуете себя способнымъ заняться другой работой?

— Я больше года жду, — со слезами въ голосѣ, тоскливо отвѣтилъ онъ. — Чего же мнѣ еще ждать? Вѣдь я не мальчикъ: мнѣ 27 лѣтъ.

Хорошо знаю, на что иду, увѣренъ, Партія не будетъ жалѣть, что приняла меня...

Его приняли. Онъ сдѣлалъ свое дѣло смѣло, мужественно. На судѣ и послѣ суда держалъ себя необычайно стойко. Цѣлый годъ поражалъ жандармовъ своей бодростью, а подъ конецъ все-таки палъ, и такъ низко, низко!!

Вотъ зловѣщіе тайники человѣческой души!...

Глава XI.

Процессъ тянулся 8 дней, съ утра до полуночи, истрепавъ и измучивъ всѣхъ до крайности. Я былъ связанъ по рукамъ и ногамъ и отпарировать удары не могъ. Признать себя членомъ Б. О. нельзя было, такъ какъ это значило подтвердить справедливость оговора Григорьева и Качуры по отношенію ко мнѣ, а стало быть — косвенно и по отношенію къ другимъ, противъ которыхъ рѣшительно никакихъ объективныхъ данныхъ не было; настолько не было, что «судъ» вынужденъ былъ ихъ оправдать. — Разрушать всю сѣть клеветы и инсинуацій Качуры и Григорьевыхъ тоже нельзя было. Изъ характера показаній Качуры видно было, что онъ избѣгалъ запутывать и оговаривать лицъ, которыхъ онъ считалъ на свободѣ. Вайценфельда и меня онъ считалъ уже осужден-

ными, а потому валилъ все — мертвые сраму не имутъ.

Легко было нѣсколькими штрихами разрушить всю махинацію, созданную Трусевичемъ и Качурой подписанную, — что онъ, невинный, безсознательный рабочій былъ вовлеченъ и чуть ли не насильно толкнутъ на терроръ.

Легко было доказать, какъ громадно было *его*, Качуры, вліяніе въ рабочихъ кругахъ Екатеринослава, что ему подчинялись, что онъ поднималъ настроеніе рабочихъ, а не наоборотъ. Но тутъ, во-первыхъ, неизбѣжно было бы называть имена, мѣста, а во-вторыхъ, изъ злобы и мести онъ могъ запутать цѣлый рядъ своихъ пріятелей-рабочихъ. Мы рѣшили съ Вайценфельдомъ, по мѣрѣ возможности, возраженій ему не дѣлать.

Григорьевыхъ легко было вывести на чистую воду, и, въ сущности, они этого вполнѣ заслужили, но это все таки выдало бы ихъ, особенно ее, головой. Мы съ Ремянниковой предпочли молчать.

Тяжело и скорбно было на душѣ: о такомъ ли процессѣ я мечталъ! Больно давила мысль о товарищахъ на волѣ: какъ они тамъ должны страдать! Страдать тѣмъ болѣе, что вѣдь правды-то о Григорьевыхъ и Качурѣ они не знаютъ, и естественно, что могутъ закрасться тяжелыя мысли и тревожныя сомнѣнія.

Л. Ремянникова и Вайценфельдъ держались все время мужественно и съ большимъ достоинствомъ; но сама роль ихъ въ процессѣ была такова, что многаго они сдѣлать не могли.

На шестой день начались рѣчи. Первой была произнесена рѣчь защитника Григорьева — Бобрищева-Пушкина. Точная копія рѣчи Муравьева по дѣлу 1-го марта, съ примѣсью характеристики революціоннаго движенія, позаимствованной изъ «Бѣсовъ». И странно: не смотря на всю очевидную дрянность и недоброкачественность, не смотря на чисто жандармскій стиль, на безсмысленность и лживость обвиненій, сыпавшихся на насъ, его рѣчь волновала и кромѣ гадливаго презрѣнія вызывала еще боль за незаслуженныя оскорбленія. Я долго послѣ того думалъ: что могло этого человѣка заставить, защищая Григорьева, бросать въ насъ грязью? Вѣдь онъ не могъ не знать истинной подкладки дѣла, не могъ не знать, что освѣщеніе, данное Григорьевыми, лживо и, какъ юристъ, не могъ же онъ не цѣнить корректнаго нашего отношенія къ его кліенту, котораго мы могли бы потопить вмѣстѣ съ бывшей на свободѣ Юрковской, если бы только разсказали хотя бы часть того, что ими сдѣлано было. И онъ, зная это, притворился ничего не знающимъ и клеветалъ.

Какая-то невѣроятная усталость охватила насъ

всѣхъ подъ конецъ процесса. Просто физическая усталость. Одна мысль преобладала надъ всѣмъ: скорѣй бы все это кончилось! Тянуть эту комедію, вотъ ужъ больше недѣли, не хватало силъ... Къ счастью дѣло подвигалось къ концу. Кончились пренія, начались «послѣднія слова».

Странное дѣло: все время залъ, наполненный «чинами», вкупѣ съ великимъ княземъ, безсмѣнно просидѣвшимъ всю недѣлю и постоянно сосавшимъ какіе-то леденцы, производилъ впечатлѣніе подавляющее. Для настроенія — это было чугунной гирей, тянувшей книзу. И казалось, человѣческое слово недоступно и непонятно этимъ ледянымъ сердцамъ.

Но — таково уже величіе человѣческой души — она все же остается человѣческой!

Я внимательно слѣдилъ за залой, когда говорила Л. А. Ремянникова — мнѣ сначала жаль было, что она заговорила съ ними искренно, правдиво. И къ удивленію своему почувствовалъ, что въ этихъ мундирныхъ душахъ что-то такое зашевелилось.

Рѣчь Л. А. была проста, безыскуственна и правдива, какъ проста, безыскусственна и правдива она сама. Это было просто нѣсколько простыхъ словъ объ обыкновенной жизни русской дѣвушки. Жизнь эту мы всѣ хорошо знаемъ.

Для насъ она такъ обыденна, что мы другъ другу о ней и не разсказываемъ. Но эти люди, очевидно, отъ настоящей то жизни такъ безконечно далеки, что для нихъ все это явилось полнымъ откровеніемъ. Простое человѣческое слово проникло глубоко къ нимъ въ душу и произвело потрясающее впечатлѣніе.

Конечно, это впечатлѣніе нисколько не помѣшаетъ имъ, въ концѣ концовъ, отправить насъ на висѣлицу «во исполненіе служебнаго долга». Но выставить передъ ними величіе нашего дѣла, отравить ихъ мысль и совѣсть сознаніемъ кого и за что они осуждаютъ и казнятъ, временно заставить ихъ потупить глаза передъ отвратительнымъ дѣломъ, которому они служатъ — этого можно достигнуть...

Глава XII.

«Судъ удаляется для совѣщанія! Г. приставъ, уведите подсудимыхъ!...» — торжественно изрекаетъ предсѣдатель.

Это было, кажется, на восьмой день, въ 11 часовъ утра.

Жандармы выстраиваются и насъ разводятъ по камерамъ.

«Судъ совѣщается»... Что касается меня, то,

пожалуй, можно бы и не совѣщаться. Дѣло ясно, т. е. не дѣло, а исходъ «дѣла», и, какъ естественный результатъ ясности объективной — ясность субъективная: ясность и спокойствіе. Не зная, сколько они тамъ будутъ «совѣщаться», торопишься привести въ порядокъ свои дѣла — написать письма. Стараешься перехитрить подсматривающихъ надзирателей. Кое-какъ письма нацарапаны. Уже три часа, а все еще «совѣщаются». Начинаешь испытывать нетерпѣніе. Чего они тамъ? Столько времени уже прошло! Спятъ что-ли? Темнѣетъ. Прислушиваешься къ каждому шороху. А! идутъ...

— На прогулку пожалуйте.

— Только-то? А я думалъ, болѣе далёкую прогулку предложатъ...

Надзиратель опускаетъ глаза.

Ясный, морозный вечеръ. На небѣ ярко играютъ звѣзды. Подъ небомъ на вышкѣ ходитъ часовой. Для «прогулки» отведено маленькое огороженное досками пространство шаговъ 15 длиной и 5 шириной, очень напоминающее мѣсто для загона скота. Ты виденъ только богу и часовому, но самъ никого не видишь.

«Совѣщаются»... Ну, сегодня-то ужъ во всякомъ случаѣ кончатъ. А потомъ сколько еще пройдетъ? Пожалуй дня три-четыре еще протя-

нется... Дадутъ свиданіе?... Родители бѣдные, бѣдные!... Какъ-то они тамъ справятся со своимъ горемъ? Для нихъ то вѣдь это только горе... Товарищи... Дойдетъ ли къ нимъ письмо?... Надо будетъ...

— Кончайте прогулку!

«Совѣщаются»... Прошла повѣрка. Отъ томительнаго ожиданія мысли принимаютъ какой-то уныло хаотическій характеръ. Скучно!... Какое странное настроеніе въ ожиданіи «приговора»!... Надо лечь спать, — совѣщаніе-то, вѣрно, тоже спитъ...

Тихо, точно крадучись, отпираютъ дверь камеры. — «Въ судъ пожалуйте, — вставайте!»

Посовѣщались!... Обыскиваютъ еще тщательнѣе, чѣмъ въ первый разъ. Часы бьютъ полночь. Говорятъ шепотомъ. Въ корридорѣ полумракъ. Лязгъ шашекъ, звонъ шпоръ, гулъ шаговъ. Нарядъ полиціи и жандармеріи усиленъ. Стоятъ почти сплошными шпалерами. Въ залѣ пусто: Угрюмо сидитъ только какой-то жандармскій генералъ. Изъ защиты явилась только молодежь. Лица у всѣхъ тревожныя. Глядя на нихъ, можно думать, что это они ждутъ приговора.

— Судъ идетъ!

У всѣхъ «судей» истомленныя, измученныя лица... «Вѣшать-то, видно, не сладко» — про-

носится злорадная мысль. Даже военный прокуроръ — знаменитый Павловъ — отсутствуетъ, приславъ своего помощника. Предсѣдатель Остенъ-Сакенъ блѣденъ, волосы взъерошены. Читается приговоръ. Вся зала стоитъ. Взволнованнымъ, прерывающимся голосомъ предсѣдатель выбрасываетъ: каторжныя работы на 4 года, смертная казнь, арестантскія роты, смертная казнь, каторжныя работы на 10 лѣтъ...

— Приговоръ въ окончательной формѣ будетъ объявленъ послѣ завтра. Г-нъ приставъ, уведите подсудимыхъ!

Наскоро прощаемся съ защитой. Ведутъ обратно въ камеры. Чины полиціи и жандармеріи съ какимъ-то жуткимъ, тревожнымъ любопытствомъ смотрятъ на насъ. Всѣмъ имъ какъ-то не по себѣ, точно въ чемъ-то виноваты...

Камера. Стоишь въ недоумѣніи. Такъ это-то и есть смертный приговоръ?! Какъ просто! Почему же нѣтъ никакихъ такихъ особенныхъ чувствъ? Или они еще будутъ? Наскоро раздѣваешься и ложишься на койку. Только заснулъ, — сквозь сонъ слышишь, какъ опять открывается дверь камеры и кто-то будитъ тебя.

— Что такое, въ чемъ дѣло?

— Приказано одѣваться, сейчасъ поѣдете.

— Ночью-то? Куда-же поѣдемъ?

— Не могу знать — приказано приготовиться.

Неужели сейчасъ на казнь повезутъ? Или, можетъ быть, нѣчто худшее?

Вывели на дворъ, усадили въ карету и подъ охраной жандармовъ повезли. Куда? Неизвѣстно! Черезъ минутъ двадцать карета остановилась, — оказывается, это привезли обратно въ крѣпость. — Ну, значитъ, не на пытку, облегченно думаешь и, какъ къ себѣ въ домъ, идешь въ старую камеру.

По дорогѣ встрѣчаетъ заспанный полковникъ — завѣдующій.

— Ну что, чѣмъ кончилось? — тревожно спрашиваетъ онъ.

— Смертная казнь! — выкрикиваю нарочно громче, чтобы жандармы слышали.

У вояки лицо вытягивается и дѣлается такое испуганное, что невольно вызываетъ улыбку.

Теперь спать! А тамъ видно будетъ! Легъ, но заснуть не даютъ. Слышенъ какой-то беззвучный шепотъ (такъ «беззвучно» шептать умѣютъ только жандармы-тюремщики). Потомъ черезъ каждые нѣсколько минутъ продолжительное и внимательное разглядываніе въ глазокъ. Ничто такъ не волнуетъ, какъ это надоѣдливое заглядываніе, невыносимое даже въ обычное время. Очевидно, приказано было тщательно слѣдить за «пригово-

ренными». Какъ тутъ избавиться отъ этого? Даю звонокъ, является дежурный.

— Слушайте, голубчикъ! Я приговоренъ къ смертной казни, очень усталъ, спать до смерти хочется, но ваше подглядываніе въ глазокъ все не даетъ заснуть. Конечно, вы не виноваты — вамъ приказали. Но подумайте сами — чего вамъ глядѣть-то? Видите, я спокоенъ, ничего надъ собой не сдѣлаю, только и всего, что высплюсь, а?

Жандармъ попался хорошій. Растерялся, бѣдный, не знаетъ, что дѣлать.

— Помилуйте, господинъ, сами хорошо понимаемъ! Что будешь дѣлать? Служба такая проклятая!

На слѣдующее утро, только приготовился писать письма — открывается дверь въ камеру: посланникъ отъ министра внутреннихъ дѣлъ, вице-директоръ Макаровъ!

— ?!

— Приговоръ вынесенъ; неужели вы такъ и думаете идти на висѣлицу?

— Т. е.?

— Да очень просто! Согласитесь сами, какой же смыслъ лѣзть въ петлю? Ну, сдѣлали тамъ свое дѣло, провели, какъ вамъ хотѣлось процессъ, выполнили, такъ сказать, свой долгъ. Дальше что же?

— А что?

— Да вѣдь вы въ загробную жизнь, надѣюсь, не вѣрите, какой же смыслъ умирать? Выполните формальность! Подумайте: простая вѣдь формальность! Ну, тамъ прошеніе, заявленіе, называйте, какъ хотите, — что въ этомъ можно дурного найти? И отъ васъ не требуется никакихъ признаній, никакихъ раскаяній. Вѣдь вы обращаетесь не къ правительству, а къ верховной власти. А верховная власть, какъ хотите, великое дѣло...

— Несомнѣнно. Для васъ всѣхъ, купающихся въ лучахъ этой власти — она великое дѣло, такъ какъ даетъ вамъ великія выгоды. Но для народа, для насъ... — въ оцѣнкѣ мы нѣсколько расходимся. Но дѣло-то собственно, не въ этомъ. Вѣдь у насъ разговоръ былъ уже. За это время ничего не измѣнилось. Какія данныя для измѣненія рѣшенія?

— Тогда требовались показанія, теперь рѣчь идетъ только о прошеніи.

— Только? А вамъ неизвѣстно, что у насъ подача прошенія о помилованіи считается самымъ позорнымъ преступленіемъ? Бросимъ это.

— Вы меня извините, но я по человѣчеству (!) не могу оставить это дѣло въ такомъ положеніи. Я знаю, меня вы не послушаетесь, я васъ долженъ

предупредить: рѣшено вызвать вашихъ родныхъ, поручить имъ склонить васъ.

— Вотъ что: говорю вамъ и передайте кому нужно: я безусловно запрещаю вмѣшивать въ это дѣло родныхъ. Это будетъ уже настоящимъ звѣрствомъ — вѣдь вы хорошо знаете, что ничего не добьетесь, зачѣмъ же причинять имъ еще лишнія страданія? Если вы честный человѣкъ — вы должны родныхъ оставить въ сторонѣ.

Въ Макаровѣ какъ будто что-то шевельнулось.

— Хорошо, я постараюсь выполнить ваше желаніе, — глухо проговорилъ онъ и вышелъ изъ камеры. *)

На завтра опять повезли въ предварилку. Уже поздно вечеромъ, въ субботу, снова выстроили въ корридорѣ и повели для выслушанія приговора въ окончательной формѣ. Въ залѣ никого не было, кромѣ защиты. Прочли пространный приговоръ.

— Г-нъ приставъ, уведите осужденныхъ...

Послѣдній разъ! Больше уже въ этой залѣ не придется бывать. Распрощались съ защитой, распрощался съ товарищами по процессу. Въ холодномъ сводчатомъ корридорѣ тускло и уныло.

---

*) Противъ ожиданія Макаровъ выполнилъ свое обѣщаніе — съ родными не говорилъ.

Тускло и уныло на душѣ. Давитъ одиночество: «на міру и смерть красна»... Да, на міру красна! Но какъ сѣра она здѣсь, на задворкахъ, вдали отъ всего живого! Какъ мучительно хочется видѣть близкое лицо! Одинъ хоть сочувственный взглядъ — какъ онъ поднялъ-бы настроеніе! Какъ завидуешь старымъ бойцамъ, имѣвшимъ счастье умирать открыто, оставляя однимъ любовь, другимъ кидая презрѣніе! А теперь!... Ночью выведутъ на дворъ. Палачъ, нѣсколько жандармовъ... Задушатъ и бросятъ тутъ же въ яму... Горькая судьба русскаго революціонера! Во время «работы», какъ травленый звѣрь преслѣдуемъ жандармами. Въ тюрьмѣ охраняемъ жандармами. На слѣдствіи допрашиваемъ жандармами, на судѣ окруженъ жандармами, на эшафотѣ казненъ жандармами и послѣдній вздохъ, послѣдній привѣтъ товарищамъ-борцамъ и несчастной родинѣ перехватывается жандармами.

Усталымъ, тоскливымъ взоромъ скользишь по обнаженнымъ шашкамъ и безконечнымъ мундирамъ и передъ тобой поднимается, все больше и больше разростаясь, какъ бы символъ несчастій страны — громадныхъ размѣровъ жандармъ. Онъ все увеличивается, увеличивается, необъятныя лапы охватываютъ бьющуюся и стонущую Россію. Надъ разросшимся до неимовѣрныхъ размѣровъ

жандармомъ — лозунгъ россійскаго исконнаго начала: «все для жандармовъ и все посредствомъ жандармовъ.»

Глава XIII.

Были первыя числа марта. Повѣяло тепломъ. Началась оттепель. Днемъ солнце сильно грѣло и птички весело чирикали за желѣзными рѣшетками. Сколько придется ждать, пока закончатъ всѣ формальности? Пожалуй, нѣсколько дней еще пройдетъ? Но какъ хорошо, что теперь уже больше не будутъ таскать по судамъ! Да и тревожить то уже больше, повидимому, никто не будетъ...

Кончился судъ вражескій; теперь-то только начинается настоящій нелицепріятный судъ — судъ собственной совѣсти, судъ надъ самимъ собой. Судъ строгій и безжалостный!

Не разъ, конечно, приходится сознательному революціонеру снова и снова перебирать: правиленъ-ли тотъ путь, по которому онъ идетъ?... Не разъ мучительныя тревоги и тяжелыя сомнѣнія, какъ червь заползаютъ въ душу и поднимаютъ все тотъ же жгучій вопросъ: нѣтъ ли другихъ, менѣе тяжелыхъ, менѣе тернистыхъ путей для достиженія блага и счастья трудящагося

класса? Неизбѣжно-ли единственный путь тотъ, на который сталъ ты?

И сколько-бы разъ ты для себя ни рѣшалъ, что да, тотъ путь правильный, да, тотъ путь единственный! Какъ бы спокойно и увѣренно во все время борьбы ни шелъ по избранному пути, все-же, когда твой путь пришелъ уже къ концу, и, какъ естественный результатъ этого конца — въ лицо тебѣ дышетъ холодъ раскрытой могилы, въ этотъ моментъ вся пройденная жизнь властно встаетъ передъ тобой и грозно, неумолимо требуетъ отвѣта: такъ ли ты распорядился мной, чтобы я радостно, безъ сожалѣнія могла переступить грань, отдѣляющую меня отъ смерти?...

Медленно, шагъ за шагомъ проходишь свою жизнь. И какое блаженное спокойствіе охватываетъ тебя, когда послѣ упорныхъ, долгихъ и страстныхъ искательствъ съ твердой вѣрой говоришь суровой истицѣ — совѣсти: ты можешь быть спокойна, — твой путь былъ вѣренъ и награда заслужена: прими эту награду какъ должное.

И когда ты произносишь надъ собой этотъ приговоръ — всѣ остальные приговоры начинаютъ казаться такими мелочными, ничтожными! Счеты съ жизнью кончены и кончены хорошо!

Теперь остается выполнить послѣднее: спокойно по этому счету уплатить. Стараешься свыкнуться съ внѣшней стороной. Рисуешь себѣ картину казни. И каждый разъ дрожь проходитъ по тѣлу и становится нестерпимо жутко, когда доходишь до момента выбрасыванія палачомъ табуретки и сжиманія горла веревкой. Изучаешь литературу предмета. Оказывается, если петля приходится неудачно, смерть наступаетъ очень медленно. Многое зависитъ отъ силы паденія тѣла. «Наилучшій» способъ ирландскій: тамъ повѣшеннаго бросаютъ съ высоты 3—4 саженей и смерть наступаетъ почти моментально отъ разрыва позвоночника.

Какой-то нѣмецкій профессоръ даже изобрѣлъ формулу, какъ лучше вѣшать. На каждый фунтъ вѣса тѣла что-то около дюйма веревки извѣстной толщины. Впрочемъ, добавляетъ гуманный ученый застѣнка, и это не всегда гарантируетъ моментальную смерть, такъ какъ весьма часто попадаются аномаліи въ крѣпости связокъ позвоночника. Теперь, вотъ вопросъ, есть ли у тебя аномалія, или нѣтъ у тебя аномаліи?

Съ завистью думаешь о разстрѣляніи. Вотъ хорошая смерть! Стрѣлять — то ужъ хорошо постерѣляютъ, но повѣсить русскіе жандармы, конечно, толкомъ не сумѣютъ, и какая-нибудь за-

минка ужъ непремѣнно выйдеть.*) Постоянная мысль о казни и обдумываніе всѣхъ деталей въ концѣ концовъ пріучають тебя и къ внѣшней сторонѣ. Труднѣе сжиться съ существомъ дѣла. Никакъ реально не представляешь себѣ смерть — небытіе. Вотъ, все есть — и тѣло, и мысли, и желанія, и любовь, и надежды — и вдругъ ничего этого не станетъ! Но что же будетъ? Сонъ? Смотришь на свое тѣло, щупаешь себя и все стараешься представить себѣ, какъ это будетъ т о г д а? И какъ же это? Никогда? Никогда больше не узнаешь, что дѣлается на свѣтѣ, чѣмъ кончилась борьба? И не будетъ никакихъ мыслей, никакихъ тревогъ, никакихъ надеждъ? Какъ странно!...

---

*) Позже въ Шлиссельбургѣ узналъ, что это недовѣріе къ русскимъ жандармамъ вполнѣ правильно: въ Россіи вѣшаютъ отвратительно и звѣрски. Рѣдко казнь протекаетъ безъ какихъ-нибудь мучительныхъ осложненій; жертва бьется въ петлѣ иногда минутъ 10—20! Степана Балмашева палачъ держалъ за ноги, такъ какъ послѣднія упирались въ помостъ эшафота. При казни Ивана Каляева произошла, вслѣдствіе неумѣлости и небрежности, такая ужасная сцена — палачъ не сумѣлъ какъ слѣдуетъ накинуть петлю и Ив. Пл. такъ долго бился въ судорогахъ — что присутствовавшій при этомъ начальникъ штаба корпуса жандармовъ бар. Медемъ грозилъ палачу разстрѣломъ, если не прекратитъ муки повѣшеннаго. Гершковичъ былъ вынутъ изъ петли черезъ 30 минутъ и сердце еще слабо билось.

А впрочемъ — что-жъ тутъ страннаго? Заснулъ, только и всего! Заснулъ и не проснулся — ничего страшнаго нѣтъ. Чего тутъ бояться? Все равно, что темноты бояться — глупо-же это! Бояться нечего, бояться глупо, но безконечное ожиданіе тревожитъ и томитъ. Когда-же наконецъ? Въ крѣпостной библіотекѣ раздобылъ Щедрина и на немъ мысль отдыхала. Какой безконечный источникъ бодрости, любви и ненависти. Главное — жгучей, непримиримой, проникающей все существо ненависти къ старому строю и безпредѣльной любви къ страдальцу этого строя — трудовому народу. И непримиримость, хвалебный гимнъ непримиримой борьбѣ.

Прошла недѣля, другая. Всѣ формальности кончены. Приговоръ находится у Плеве, и каждую минуту можетъ быть отданъ на исполненіе. Чего они медлятъ?

Казнь, конечно, состоится въ Шлиссельбургѣ. Когда туда повезутъ? Вѣроятно вечеромъ. И каждый вечеръ послѣ повѣрки ждешь: вотъ, вотъ откроется дверь, принесутъ платье — пожалуйте! И долго, долго лежишь такъ на койкѣ, трепетно прислушиваясь къ малѣйшему шороху — не идутъ ли? Часто раздаются шаги, часто подходятъ къ двери, — но все мимо. Подъ конецъ засыпаешь тревожнымъ, отъ малѣйшаго шума прерываю-

щимся сномъ. Подъ утро съ удивленіемъ смотришь — еще нѣтъ? Ну, значитъ, сегодня навѣрное...

Прошло три недѣли со времени приговора. Была середина шестой недѣли поста. На страстной и святой вѣшать нельзя. Стало быть на этой шестой должны во что-бы то ни стало кончить. По серединѣ недѣли пришелся какой-то праздникъ, словомъ выходило такъ, что 16-е марта я считалъ послѣднимъ днемъ пребыванія въ Петропавловской. По моимъ разсчетамъ, если казнятъ теперь, то это должно быть въ эту ночь съ 16 на 17-ое.

Насталъ вечеръ. Осмотрѣлъ, въ порядкѣ-ли морфій *), настроился на соотвѣтствующій ладъ, жду. Прошла повѣрка. Въ крѣпости стало тихо, какъ бываетъ только въ тюрьмѣ. Былъ десятый часъ вечера. Чутко прислушиваешься, нѣтъ-ли какого движенія. Среди мертвой тишины въ коридорѣ вдругъ слышенъ гулъ шаговъ. Шаги быстрые, властные, ясно приближающіеся къ моей

---

*) Передъ арестомъ я былъ въ полной увѣренности, что послѣ приговора будутъ пытать. Не зная напередъ, до какого предѣла сумѣешь держаться, обезпечилъ себя достаточной дозой морфія, которую удалось спасти отъ всѣхъ утонченныхъ обысковъ. Уничтожилъ уже въ Шлиссельбургѣ, когда убѣдился, что не понадобится.

камерѣ. У самой двери слышенъ голосъ — «вотъ сюда, Ваше П-во!»

Гремитъ открываемый засовъ, за нимъ замокъ, широко распахивается дверь. Быстро входитъ полковникъ, за нимъ предсѣдатель суда Остенъ-Сакенъ; въ корридорѣ видны жандармы. «При чемъ тутъ предсѣдатель суда? — проносится въ головѣ, — неужели онъ будетъ присутствовать при казни?» . . .

— Здравствуйте, г-нъ Г., — раздается его мягкій басъ. Онъ крайне взволнованъ, грудь высоко дышетъ. Лицо какое-то особенное. Онъ подошелъ близко, близко и какимъ-то торжественнымъ тономъ говоритъ:

— Я привезъ вамъ высочайшую милость! Жизнь вамъ дарована!

Слова эти врѣзались въ память. Тогда — точно ножемъ полоснули.

Мнѣ хотѣлось оборвать его, но у него былъ такой, непритворно блаженный видъ, онъ такъ искренно былъ проникнутъ величіемъ своей миссіи, такъ считалъ себя посланникомъ небя, несущимъ вѣсть избавленія, что у меня языкъ не повернулся сказать ему дерзость.

— Я объ этомъ не просилъ, вы это знаете? — только спросилъ я.

— Да, я знаю.

Онъ вышелъ. Нѣсколько секундъ я простоялъ безъ движенія. Потомъ, какъ стоялъ у койки, тихо, незамѣтно для себя опустился на нее. Все тѣло начало дрожать. Сначала слабо, постепенно все сильнѣе и сильнѣе. Руки такъ дрожали, что съ невѣроятной силой впились въ одѣяло. Зубы выбивали дробь. Весь похолодѣлъ, затѣмъ сразу облился холоднымъ потомъ. Хорошо помню: мыслей никакихъ въ головѣ не было. Такъ, въ какомъ-то странно подавленномъ состояніи прошло, вѣроятно, съ полчаса. Весь, какъ будто, застылъ и окаменѣлъ. Чувствовалась такая разбитость и слабость, что, несмотря на невѣроятную усталость, какъ будто не было силъ лечь на койку, на которой я сидѣлъ безжизненной массой. — Холодъ смѣнился жаромъ. Все тѣло буквально горѣло. Легкое тюремное одѣяло казалось нестерпимой тяжестью. Во рту мучительная сухость. Всю ночь пролежалъ съ открытыми глазами, съ какимъ-то дикимъ вихремъ мыслей въ головѣ. Это была вторая ночь, проведенная безъ сна: первая — послѣ оговора Качуры.

Сразу не охватывалось все значеніе происшедшаго. Чувствовалась какая-то безпомощность, неподготовленность къ чему то большому, большому. Образовалась какая-то огромная пустота. Все время настраивалъ себя на извѣстный ладъ. Всѣ

старанія были направлены на то, чтобы пріучить мыслить себя внѣ жизни. До извѣстной степени этого добился: жизни не существовало — вся жизнь была грядущей смертью: только мысль о смерти питала жизнь.

И вотъ, когда все существо, всѣ чувства и мысли послѣ большихъ стараній направлены въ извѣстную сторону, въ моментъ наивысшаго напряженія и ожиданія именно этой стороны, — васъ поворачиваютъ сразу, безъ предупрежденія, въ другую. Перейти неожиданно отъ смерти къ жизни, быть можетъ, еще болѣе трудно, чѣмъ отъ жизни къ смерти.

Но . . . жизнь получена, «дарована», надо какое-нибудь употребленіе изъ нея дѣлать!

Глава XIV.

На утро сіяющій, лучезарный является полковникъ (завѣдующій тюрьмой) поздравлять.

— Вотъ что, полковникъ, если вы кому, дѣйствительно, хотите доставить радость этимъ извѣстіемъ — протелефонируйте брату, а то они объ этомъ только черезъ три дня узнаютъ.

Къ моему удивленію, комендантъ разрѣшилъ такое «нарушеніе закона», и родные по телефону были объ этомъ извѣщены.

Начинаешь наново налаживать жизнь къ жизни. Если бы новорожденный все сознавалъ и мыслилъ, онъ, вѣроятно переживалъ бы нѣчто соотвѣтствующее. Но радости жизни не было. Было одно обстоятельство, заставлявшее сильно колебаться въ оцѣнкѣ полученнаго «дара».

Тогда къ казнямъ Россія еще не привыкла. Казнь всѣхъ давила, всѣхъ волновала, передъ всѣми стояла, какъ живой укоръ. И всѣмъ бывало стыдно. Стыдно правительству, совершавшему казнь, стыдно обществу, допускавшему казнь и сидѣвшему спокойно, когда другіе гибли на эшафотѣ. Трупъ казненнаго лежалъ пропастью между обществомъ и правительствомъ. На послѣднемъ горѣла печать палача, оно вызывало къ себѣ ненависть, презрѣніе и отвращеніе.

Но вотъ казнь отмѣняется, «даруется» жизнь и вся тревожная атмосфера разрѣжается.

Всѣ начинаютъ себя чувствовать легко. Куда-то далеко, далеко отлетаетъ сознаніе, что, вѣдь, русское правительство осталось тѣмъ же, чѣмъ было, что ни одинъ грѣхъ не искупленъ, что ничего тутъ не произошло такого, что могло бы смягчить отношеніе къ этому правительству.

Это одно. Но въ настоящемъ случаѣ были специальныя условія. Характеръ предательства былъ таковъ, что при желаніи давалъ богатую

ницу для дискредитированія террористическаго теченія вообще. Конечно, исторія достаточно научила, что нельзя принимать на вѣру показаній предателя, и ни одинъ добросовѣстный противникъ этимъ пользоваться не будетъ. Но стоитъ только «щепетильность» откинуть въ сторону, дѣлать видъ, что повѣрилъ предателямъ — и на этой канвѣ вы можете вышивать какіе вамъ угодно узоры.

Примѣръ тому — Бобрищевъ-Пушкинъ. Правда, даже буржуазное общество отъ него отшатнулось. Правда, адвокатскія корпораціи исключили его изъ своей среды.

Но гдѣ гарантіи, что другіе и изъ другого лагеря не сдѣлаютъ это болѣе умѣло, съ меньшимъ временнымъ вредомъ для себя и большимъ для насъ?

Вотъ эта-то боязнь, что предательство двухъ лицъ въ процессѣ, ихъ продиктованныя жандармами трафаретныя показанія на тему о томъ, что ими воспользовались руководители террора, скрывшіеся за ихъ спиною, какъ пушечнымъ мясомъ, будутъ недобросовѣстно использованы, — заставляла желать казни: черезъ трупъ не всякій рѣшится переступить для такихъ цѣлей.

Но зато, съ другой стороны, жизнь досталась въ такой моментъ, когда все внутри тебя кричало,

что близокъ часъ спасенія Россіи, что тебѣ это спасеніе доведется увидѣть своими собственными глазами. Война только началась, а уже передъ страной открылись зловѣщія язвы стараго строя, которыя народу приходится поливать своей кровью. И то, что раньше для большинства было скрыто, и ясно было только немногимъ, теперь обнаружилось и ясно стало всѣмъ.

И даже этотъ столпъ, главный китъ, на которомъ спала убаюканная совѣсть народной массы — мощь и непобѣдимость россійскаго оружія — этотъ мистическій Молохъ, которому страна безропотно отдавала все, вплоть до своей крови, и онъ зашатался, и онъ разбился вдребезги при первомъ же испытаніи...

Прошло недѣли три. Давались свиданія и даже личныя, а не черезъ рѣшетку. Началъ запасаться книгами, располагаясь «почитать». Дышалось легко. Казалось, неусыпное начальство о тебѣ забыло — величайшее благо, какое только заключенный можетъ желать для себя. Со дня на день ждалъ перевода въ Шлиссельбургъ. Какъ вдругъ, въ первыхъ числахъ апрѣля, полковникъ, краснѣя и конфузясь, показываетъ «бумагу». Плеве распорядился «отобрать». Что? Все! Свиданія, переписку, письменныя принадлежности, книги... больше отбирать нечего.

Отобрали — и сразу точно въ какую-то пропасть погрузился. Трудно передать, какое это лишеніе — отсутствіе книгъ. Со всѣмъ можно мириться, ко всему можно привыкнуть: къ одиночеству, отсутствію прогулокъ, свиданій, переписки, къ полной оторванности отъ живого міра, къ темному помѣщенію, къ отвратительной пищѣ, ко всему, ко всему, пока остается какое-нибудь занятіе, какой-нибудь интересъ въ жизни. Для человѣка мало-мальски интеллигентнаго, наибольшій интересъ, конечно, создаетъ книга. Пока есть книга — есть жизнь. Своеобразная, однобокая, но все-же жизнь.

Но когда васъ оставляютъ въ четырехъ стѣнахъ, и оставляютъ не временно, а навсегда, когда, кромѣ этихъ четырехъ стѣнъ, вы ничего не видите, никакихъ впечатлѣній не получаете; когда въ теченіе цѣлаго дня вашей мысли не за что ухватиться, когда вы не можете себѣ сказать: вотъ, я въ такомъ-то часу начну дѣлать то-то, когда ваши мысли фиксируются вокругъ одного: что тутъ дѣлать? Какъ жить безъ всякаго дѣла? И ничто не можетъ отвлечь вашей мысли въ другую сторону — вы черезъ нѣсколько дней начинаете уже чувствовать, что у васъ въ головѣ точно жуки ползаютъ. Страшно не то, что вы этотъ день сидите безъ дѣла. Страшна мысль

постоянная, неотвязная, что вѣдь **все время** будетъ такъ. Васъ безсмѣнно охватываетъ ужасъ, что вѣдь за сегодняшнимъ днемъ послѣдуетъ **такой-же** завтрашній, за завтрашнимъ такой-же послѣ-завтрашній и такъ безъ конца, безъ конца.

Это именно и есть то, что выражено въ библейскомъ проклятьи и что можетъ быть понято только жертвами русскаго режима: «И проклянетъ жизнь твою Господь Богъ твой: и встанешь ты поутру, и будешь молить: «о еслибы насталъ вечеръ», а вечеромъ будешь молить: «о если-бы настало утро.»

Въ этомъ все содержаніе жизни, на которую обреченъ человѣкъ, лишенный въ одиночномъ заключеніи книгъ и физическаго труда. Проходитъ тусклый, томительный, давящій день. Съ трудомъ дожидаешься сумерекъ. Бросаешься на койку. Сонъ былъ-бы спасителемъ. Но сна нѣтъ. Тѣло и мозгъ цѣлый день бездѣйствовали и во снѣ не нуждаются. Въ кошмарной, тяжелой полудремотѣ кое-какъ проходитъ ночь. Въ часъ уже свѣтло и точно вѣчность тянется дразнящее бѣлое петербургское утро. А утромъ съ тоской и отчаяніемъ думаешь: вотъ, опять цѣлый день надо прожить! Какъ, какъ?!... Чѣмъ наполнить пустое пространство, громадное пространство въ 24 часа?!...

Лишеніе книгъ — это самая утонченная, самая дьявольская пытка. Долго, врядъ-ли, безнаказанно можно ее переносить. Разрушеніе психики неизбѣжно.

Но какъ это ни странно и тутъ есть своя хорошая сторона. Для заключеннаго, конечно, совершенно ясна вся безсмысленность этой мѣры даже съ точки зрѣнія правительственнаго «закона». Смыслъ только одинъ: безконечная злоба правительства, желаніе выместить надъ связаннымъ врагомъ свою ненависть, желаніе сломить его волю и заставить просить пощады.

Результаты получаются, конечно, прямо противоположные. Въ душѣ поднимается какая-то дикая ненависть и гадливое презрѣніе къ этому озвѣрѣвшему чудищу, тутъ, въ этихъ мелочахъ, раскрывающему передъ тобой свое нутро. Твое прежнее отношеніе не только не колеблется, не только не смягчается, но наоборотъ укрѣпляется и обостряется. Съ какой-то злобной радостью теребишь свои раны, созерцаешь эту безпросвѣтную мрачную жизнь и со жгучимъ злорадствомъ скрежещешь зубами: «А, вы хотите сломить своими пытками? Хорошо же, посмотримъ, кто кого сломитъ?...»

Тяжело, мучительно! Но то, что ты это тяжелое и мучительное переносишь и не боишься

пасть, облегчаетъ муки и помогаетъ выносить это, казалось-бы, невыносимое состояніе.

И какое-то бѣшеное наслажденіе и глубокое удовлетвореніе испытываешь при сознаніи, что тебя пытаютъ, а духъ твой еще сильнѣе закаляется.

И вспоминаются невольно стихи шлиссельбуржца Морозова:

И въ тюремной глуши,
Гдѣ такъ долги года,
Не сломитъ никогда
Нашей вольной души!

Глава XV.

Потянулись дни, недѣли, мѣсяцы. Къ іюню крѣпость почти опустѣла. Осталось человѣкъ 7—8, такъ что прогулки кончались въ 10 часовъ утра. Въ душу закрадывается тревога. Что это значитъ? Не перестало же правительство добровольно арестовывать? Значитъ, борьба идетъ на пониженіе? Патріотическій угаръ захватилъ массы и революціонеры вынуждены временно сойти съ арены борьбы? Неужели Россія одерживаетъ побѣды?... Узнать что-либо невозможно, и дни текутъ сѣрые, унылые, безпросвѣтные.

Почему не увозятъ въ Шлиссельбургъ? Не-

ужели такъ здѣсь будутъ держать, въ 46 номерѣ? Или Плеве что-нибудь затѣваетъ такое, чего и придумать не догадаешься?

Тѣмъ временемъ — пришла бѣда, открывай ворота — нога разболѣлась настолько, что въ теченіе мѣсяца не могъ двинуться съ койки*),

---

*) Въ Кіевѣ во время заковки въ кандалы неосторожно ударили молоткомъ по пальцу ноги. Вѣроятно произошелъ маленькій кровоподтекъ и осколокъ ногтя врѣзался въ палецъ. Кандалы не снимались, такъ что дня четыре нельзя было видѣть, что тамъ произошло. По прибытіи въ крѣпость оказалась маленькая опухоль, но такъ какъ на тотъ свѣтъ пѣшкомъ не ходятъ, то это особенно и не тревожило меня. Къ доктору обращаться было неловко: человѣка вѣшать собираются, а онъ палецъ вздумалъ лечить. Такъ прошелъ годъ. Когда лишили книгъ и я отъ бездѣлья цѣлый день, какъ звѣрь въ клѣткѣ, заходилъ по камерѣ, палецъ далъ себя знать сильнымъ и крайне мучительнымъ воспаленіемъ. Крѣпостной врачъ совѣтовалъ сейчасъ же дѣлать разрѣзъ, приглашенный хирургъ предложилъ нѣсколько выждать. Потомъ перевели въ Шлиссельбургъ и тамъ попалъ въ руки крайне невнимательнаго и невѣжественнаго крѣпостного врача Самчука. Онъ ограничивался постоянными разрѣзами, сдѣлавъ ихъ въ общей сложности 26. Уже въ декабрѣ 1905 г., на ходатайство родныхъ въ департаментѣ полиціи о допускѣ спеціалиста хирурга, Самчукъ отвѣтилъ, что больной чувствуетъ себя хорошо и надобности въ хирургѣ не усматриваетъ. Къ счастью, въ февралѣ перевезли въ Москву въ Бутырки. Тамъ сняли уже совершенно изуродованный палецъ и тѣмъ спасли ногу. Хромота, впрочемъ, осталась и понынѣ.

такъ что и на прогулки не выходилъ. Единственно, что спасало отъ совершенно нестерпимаго однообразія — это голуби и воробушки. Съ ними такъ подружились, что какъ только, бывало, засвистишь, слетаются со всѣхъ сторонъ, садятся на голову, на плечи, цѣпляются за грудь, бороду и пр.

Въ концѣ іюля крѣпость опять начала наполняться. (Такъ какъ я всегда гулялъ послѣднимъ, а прогулки тамъ по $^1/_4$ часа, начиная съ восьми утра, то всегда имѣлъ возможность знать число содержащихся). Стало быть, волна снова поднимается — думаешь съ облегченіемъ — и радъ вновь прибывающимъ свидѣтелямъ, показывающимъ ростъ революціи.

29-го іюля, часу въ третьемъ дня вдругъ загремѣла пушка. Салюты въ царскіе дни обыкновенно производятся часовъ въ двѣнадцать; что случилось? Начинаешь считать выстрѣлы: 33 . . . 75 . . . 101 . . . Пушка продолжаетъ гремѣть! Самый большой салютъ 101, а тутъ имъ конца нѣтъ. Съ замираніемъ сердца насчиталъ около 300. Первая мысль, отъ которой даже весь похолодѣлъ: одержали какую-нибудь блестящую побѣду! Но такую блестящую, что начавъ палить, отъ радости остановиться не могутъ.

И чѣмъ больше гремѣли пушечные выстрѣлы,

отъ которыхъ дрожали стѣны тюрьмы, тѣмъ горестнѣе и мрачнѣе становилось на душѣ: вѣдь что бы тамъ ни было, — разъ у «нихъ» великая радость, значитъ у страны великое горе! Чутко прислушиваешься, что дѣлается въ корридорѣ. Часами простаиваешь, приложивши ухо къ желѣзной двери, — быть можетъ схватишь хоть слово, хоть звукъ, который дастъ какое-нибудь указаніе! Замѣтна суета, замѣтно, что произошло что-то неожиданное, но кромѣ «беззвучнаго» шепота, еще беззвучнѣе, чѣмъ когда-либо, ничего ухватить не удается.

Потомъ настала какая-то мертвая, подавляющая тишина. Лежишь на койкѣ и рисуешь себѣ, какъ вотъ, въ каждой камерѣ лежитъ съ такими же трепетными, тревожными мыслями, мучаясь надъ вопросомъ, надъ чѣмъ «они» ликуютъ, и что нѣтъ возможности узнать объ этомъ.

Помню, это было въ пятницу. Въ субботу должна была быть баня. Утренній кипятокъ для чая разносятъ въ семь часовъ, а полотенце, которое на ночь убирается, нѣсколько раньше. Куранты бьютъ семь, бьютъ половину восьмого, бьютъ восемъ — никого нѣтъ! Половина девятаго — никого нѣтъ, только въ корридорѣ какой-то тревожный шепотъ и бѣготня. Только въ 9 часовъ торопливо начали разносить кипятокъ, бѣлье для

бани и пр. Лица жандармовъ истомленныя, какъ послѣ похмѣлья. Стало быть, событіе такое радостное, что всю ночь пропьянствовали! Но что?! А можетъ, только наслѣдникъ родился?

Возвращаюсь изъ бани — въ камерѣ полковникъ. Это невѣроятный формалистъ, настоящій строевикъ, но все время относился очень хорошо, а послѣ осужденія особенно. Физіономія сіяющая, блаженная. Видно, хвачено было солидно. «Вотъ бы у него выпытать», мелькаетъ соблазнительная мысль.

— Что у васъ тамъ, пороху дѣвать некуда, что вчера цѣлый день палили?

— А по какому случаю палили, какъ вы думаете? — лукаво подмигивая однимъ глазомъ, спрашиваетъ онъ.

Скажетъ или не скажетъ? Пожалуй, совретъ?

— Да наслѣдникъ родился, ясное дѣло! — огорашиваешь его, а самъ ждешь, вотъ сейчасъ съ гордостью скажетъ: что вы! побѣ-ѣ-ѣду одержали! Вотъ что!

— Вѣрно! Однако, вы догадливы.

— А знаете, я уже было думать началъ: ужъ не побѣду-ли, думаю, одержали?

Полковникъ только безнадежно махнулъ рукой...

Недѣли черезъ двѣ, послѣ крещенія наслѣдника, опять является торжествующій.

— Великія милости по манифесту получили, полковникъ?

— Мы-то ничего не получили, а вотъ для вашего брата тамъ много чего есть!

— Ну, ужъ будто-бы такъ много?

— Очень много! Коменданту крайне хочется, чтобы вамъ дали прочесть манифестъ, но сами, знаете, не рѣшаемся, придется снестись съ департаментомъ полиціи.

— Да, ужъ говорите, конституцію дали подъ поручительствомъ Плеве, что-ли?...

Черезъ пару дней неожиданный гость: Макаровъ! Явился, оказывается, поздравить: завтра увезутъ въ Шлиссельбургъ. Отъ радости чуть не бросился ему на шею. Пошелъ потомъ разсказывать о великихъ милостяхъ: выкупные платежи отмѣнили, тѣлесныя наказанія отмѣнили, политическимъ сроки сократили, словомъ: рай!

— И тѣлесныя наказанія отмѣнили? Такъ что отнынѣ то ужъ драть по закону нельзя?

Старался выпытать о войнѣ — ничего не удалось добиться, — видно было только — «хвастать нечѣмъ».

Завтра въ Шлиссельбургъ! Наконецъ-то! Радость такая, точно объявили, что завтра на волю

выпустятъ. Теперь по крайней мѣрѣ узнаю, что тамъ ждетъ тебя. *) Считаешь минуты, вотъ повезутъ! Проходитъ день, проходятъ два — никакихъ распоряженій! Опять какія-нибудь перемѣны, думаешь съ ужасомъ. Черезъ пару дней является полковникъ, и говоритъ, что завтра повезутъ — такъ сообщили, но бумаги еще нѣтъ. Проходитъ завтра — опять ничего! Прошло еще нѣсколько дней. Приносятъ платье и всѣ вещи: приказано сдать на руки, очевидно, сегодня увезутъ. Опять идетъ день за днемъ — ничего нѣтъ! Въ общемъ въ такомъ томительномъ ожиданіи прошло около трехъ недѣль! Даже жандармы и тѣ негодовали — чистое безобразіе! Для нихъ человѣкъ — все одно, что дерево!

Наконецъ, 1-го сентября, часа въ четыре ночи, будятъ: пожалуйте, пріѣхали! Вещи давнымъ давно уложены. Наскоро одѣваешься, какъ-бы боясь, чтобы опять не вышло какой задержки.

*) Потомъ узналъ, почему это, наконецъ, рѣшили отправить. Во-первыхъ, оказывается, къ тому времени, попущеніемъ промысла пресѣклись дни приснопамятнаго Плеве. Во-вторыхъ, если бы меня оставили здѣсь, то по манифесту пришлось бы мнѣ срокъ сократить и изъ безсрочнаго перевести въ четырнадцатилѣтняго; у насъ единственное мѣсто, изъятое отъ «дѣйствій» манифестовъ — это Шлиссельбургъ. Тамъ по «закону» манифесты не примѣняются, исключая особыхъ высочайшихъ постановленій по представленію министра.

Идутъ. Ну, прощай, 46-ой номеръ! Больше-то ужъ не увидимся. Тепло распрощался съ жандармами, съ которыми какъ-то сжился за это время. Прошли сквозь строй солдатъ. У воротъ карета. Офицеръ, два унтера. — «Трогай!» Пять часовъ. Ранній разсвѣтъ сентябрскаго утра. Подъѣзжаемъ къ набережной у Дворцоваго моста. Тамъ стоитъ казенный пароходъ. Жандармы подхватываютъ подъ руки и по узкому трапу вводятъ въ нижнюю каюту. Наскоро бросаешь послѣдній взглядъ на Петербургъ, на Петропавловскую крѣпость, на выстроившіеся противъ нея дворцы. Гдѣ-то слышенъ гудокъ. Прощай! Прощай!...

Придетсяли еще когда-нибудь тебя увидѣть, несчастная столица несчастной страны?...

Конецъ первой части.

Часть вторая.

Шлиссельбургъ.

Глава I.

Маленькая каютка казеннаго парохода. У дверей жандармы. Подъ мѣрный шумъ волны невольно — картина за картиной — встаетъ прошлое этого мрачнаго застѣнка самодержавія.

Шлиссельбургъ былъ учрежденъ для наиболѣе «тяжкихъ государственныхъ преступниковъ» въ царствованіе Александра III, Толстого и Плеве. Имѣлось въ виду замѣнять имъ смертную казнь. Но такъ замѣнять, чтобы правительство въ убыткѣ не было. Другими словами — обзавестись достаточно вмѣстительнымъ Алексѣевскимъ равелиномъ, гдѣ въ первые же два года больше половины умерло, а остальные лежали безнадежно больными и разбитыми.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ 84-го года, глубокой ночью отъ Петропавловской крѣпости отплыла выкрашенная въ черный цвѣтъ баржа, раздѣленная на маленькія клѣточки. По клѣткамъ развели закованныхъ въ кандалы «государственныхъ преступни-

ковъ», въ томъ числѣ Л. А. Волкенштейнъ и В. Н. Фигнеръ. Баржа доставила ихъ на обитаемый только жандармами островокъ; изъ клѣтокъ баржи они были переведены въ клѣтки тюрьмы.

Полное одиночество. Прогулка по $^{1}/_{4}$ часа. Ни книгъ, ни физическаго труда. Перестукиваніе запрещается и строго преслѣдуется. Пища скверная: каша съ пескомъ и черный хлѣбъ съ пескомъ. Ни свиданій, ни переписки. И такъ на всю жизнь. — Но долго-ли можетъ тянуться такая жизнь? Не лучше-ли погибнуть въ борьбѣ, чѣмъ разлагаться заживо?

Среди заключенныхъ находились извѣстные революціонеры Минаковъ и Мышкинъ, перевезенные съ Карійской каторги за побѣгъ. Первымъ открываетъ борьбу Минаковъ. Онъ заявляетъ товарищамъ, что нанесетъ оскорбленіе доктору, его будутъ судить, и на судѣ онъ разскажетъ про невозможный режимъ. Россія и Европа узнаютъ и вмѣшаются въ жизнь плѣнниковъ самодержавія.

На слѣдующій день Минаковъ выполнилъ свое рѣшеніе. На него набросились жандармы, увели его въ старую тюрьму и больше его товарищи не видали. Узнали, что Минаковъ добился суда, но суда россійскаго: пріѣхали два офицера, спро-

сили, какъ зовутъ, и когда онъ заговорилъ о томъ, почему онъ оскорбилъ доктора, его прервали замѣчаніемъ, что это «суда не касается». Подъ утро его разстрѣляли.

Шли дни. Мучительные, безотрадные, тяжелые. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Мышкинъ рѣшаетъ: Минакова нѣтъ — я пойду за нимъ; быть можетъ, это поможетъ. На вечерней повѣркѣ Мышкинъ бросаетъ тарелкой въ смотрителя. На него набрасываются жандармы и уводятъ въ старую тюрьму. Больше его не видѣли. Вскарѣ узнали, что его постигла та же участь, что и Минакова: пріѣхали два офицера, спросили, какъ зовутъ; говорить не дали. Подъ утро разстрѣляли.

Среди ужаса одиночества, мрачныхъ мыслей и тревогъ за товарищей рѣшили испытать другой путь борьбы: добиться улучшенія режима, или заморить себя голодомъ. Тюрьма перестала ѣсть. На пятый день начались болѣзни. Разбитые, разслабленные, пластомъ лежатъ одинокіе на своихъ койкахъ. Прошло 9 дней. Когда у заключенныхъ не было уже силъ бороться, начальство заявило, что если не начнутъ принимать пищу, докторъ будетъ кормить искуственно. Заключенные сдались.

Шли дни, мѣсяцы, годы. Мрачная тишина пре-

рывалась то тамъ, то здѣсь раздававшимся то рыданіемъ, то смѣхомъ.

То были безумныя рыданія и безумный смѣхъ сошедшихъ съ ума товарищей.

Ночью сквозь тревожную полудремоту, съ бьющимся отъ тяжкаго предчувствія сердцемъ, заключенные прислушивались къ неясному шуму, поднимавшемуся отъ поры до времени въ корридорѣ. Слышались заглушаемые шаги, порывистый шепотъ; что то выносилось изъ камеръ.

Это жандармы выносили быстро сходившихъ въ могилу борцевъ. *Въ первые же два года ихъ погибло двѣнадцать человѣкъ!* (Минаковъ, Клименко, Тихановичъ, Мышкинъ, Малявскій, Буцевичъ, Долгушинъ, Златопольскій, Кобылянскій, Игнатъ Ивановъ, Исаевъ, Немоловскій).

Борьба — самая жгучая, самая острая, самая непримиримая, почти не прекращалась. Пускались въ ходъ всѣ способы. На головы заключенныхъ сыпались безконечныя наказанія, но тюрьма боролась до послѣднихъ силъ.

Правительство не сдавалось. Двѣнадцать труповъ въ первые же два года и трое сошедшихъ съ ума не смущали всемилостивѣйшаго самодержавія. Черезъ три года упорной, но безрезультатной почти борьбы одинъ изъ заключенныхъ,

Грачевскій, заявилъ, что онъ пойдетъ по пути Мышкина и Минакова — быть можетъ, это теперь поможетъ.

Жандармы донесли, Грачевскаго насильно перевели въ старую тюрьму и никто изъ начальства къ нему не являлся. Видя, что путь отрѣзанъ, онъ рѣшаетъ покончить съ собой. Но лукавое начальство зорко слѣдитъ за нимъ, отнимая возможность выполнить задуманное самоубійство. Грачевскій притворился успокоившимся.

Черезъ нѣсколько недѣль смотритель, который держалъ ключи у себя, пошелъ въ гости. Дежурившіе у камеры жандармы занялись своимъ дѣломъ. Грачевскій воспользовался моментомъ, ухитрился снять высоко прикрѣпленную лампу, облилъ себя и койку керосиномъ и зажегъ. Яркое пламя вызвало тревогу, но въ камеру нельзя было проникнуть. Пока явился смотритель, тѣло Грачевскаго превратилось въ сплошную обуглившуюся, но еще живую массу. Черезъ три часа неимовѣрныхъ страданій Грачевскій умеръ.

Казалось стоны сгорѣвшаго Грачевскаго долетѣли до каменныхъ сердецъ петербургскихъ самодержцевъ. Оттуда данъ былъ приказъ «смягчить» положеніе заключенныхъ. Смягченіе выразилось въ томъ, что въ дворики, гдѣ заключенные гуляли, насыпали песку, поставили лопаты

и разрѣшили пересыпать песокъ съ одного мѣста на другое. Выдали кое-какія старыя, никуда негодныя книги. Какъ ни ничтожны были результаты, важно было то, что правительство било отбой. Упорная борьба еще продолжалась, но *первая побѣда была уже одержана.*

Въ 1890 году въ Шлиссельбургъ привезли Софію Гинсбургъ. Ее помѣстили изолированно, въ старую тюрьму. Черезъ нѣсколько недѣль она перерѣзала себѣ артерію и, когда жандармы явились къ ней въ камеру, она плавала мертвая въ крови. Это была послѣдняя кровь, принесенная въ жертву шлиссельбургскому деспотизму.

Со средины 90-хъ годовъ начинается улучшеніе режима. Царское правительство какъ будто устало терзать свои жертвы. У тигра какъ будто притупились зубы. Но это только такъ казалось заключеннымъ.

Причины смягченія режима на самомъ дѣлѣ лежали не въ уменьшеніи жестокости.

Въ 90-хъ годахъ, какъ извѣстно, революціонное движеніе временно замерло. Тюрьмы стояли пустыми. «Важныхъ» преступниковъ совсѣмъ не было. Съ 90-го года въ Шлиссельбургъ никого не заключали и дѣлъ такихъ — «Шлиссельбурга достойныхъ» — не предвидѣлось и въ будущемъ. Между тѣмъ изъ 48 заключенныхъ двадцать къ

тому времени уже погибло, трое были безнадежно помѣшанные, десятерыхъ ждалъ переводъ въ Сибирь, оставалось всего пятнадцать человѣкъ.

Оставить режимъ старый — это значило въ нѣсколько лѣтъ лишиться всѣхъ заключенныхъ. На Шлиссельбургъ же отпускалось 85 тысячъ въ годъ и цѣлый штатъ жандармовъ питался вокругъ жертвъ царизма. Сама крѣпостная администрація, опасаясь за свою судьбу, начала хлопотать объ улучшеніи режима, т. е., другими словами, о поддержаніи дорогой имъ отнынѣ жизни уцѣлѣвшихъ «арестантовъ». Вотъ источникъ мягкосердія русскаго правительства по отношенію къ Шлиссельбургу.

За все время существованія Шлиссельбурга (1884—1905), туда было привезено 68 человѣкъ; изъ нихъ:

13 были разстрѣляны и повѣшены въ стѣнахъ тюрьмы*);

4 тамъ же покончили съ собой**);

3 застрѣлились вскорѣ послѣ освобожденія***);

---

*) Мышкинъ, Минаковъ, Ульяновъ, Генераловъ, Осипановъ, Андреюшкинъ, Шевыревъ, Штромбергъ, Рогачевъ, Балмашевъ, Каляевъ, Гершковичъ, Васильевъ.

**) Клименко, Тихановичъ, Грачевскій, Софія Гинсбургъ.

***) Яновичъ, Поливановъ, Мартыновъ.

4 находятся въ состояніи безнадежнаго умопомраченія*);

15 умерло отъ чахотки, цынги и прочихъ болѣзней въ стѣнахъ тюрьмы**);

5 по уничтоженіи Шлиссельбурга перевезены на Акатуйскую каторгу;

1 убита во время манифестаціи во Владивостокѣ***);

Смягченный режимъ держался до 1902 г., т. е. до воцаренія Плеве. Новый русскій самодержецъ, при которомъ было заложено начало Шлиссельбурга, нашелъ весь режимъ «незаконнымъ», лишилъ всѣхъ пріобрѣтенныхъ льготъ и ввелъ «законность»...

...Пароходъ приближался къ этому царству россійской законности.

Глава II.

Часовъ въ десять утра пароходъ останавливается. Слышны какіе-то голоса. Очевидно, подъѣхали. Офицеръ сверху дѣлаетъ знакъ унтерамъ.

---

*) Похитоновъ, Щедринъ, Конашевичъ, Чепегинъ.

**) Нечаевъ, Исаевъ, Арончикъ, Богдановичъ, Златопольскій, Малавскій, Буцинскій, Буцевичъ, Кобылянскій, Геллисъ, Долгушинъ, Юрковскій, Игнатій Ивановъ, Немоловскій, Людвигъ Варынскій.

***) Людмила Волькенштейнъ.

— Пожалуйте!

Моросить мелкій дождикъ. Небо сѣрое петербургское. Вотъ онъ — Шлиссельбургъ! Давящая жуть охватываетъ при первомъ же приближеніи къ нему.

Это очень маленькій островокъ — десятины, вѣроятно, въ двѣ, расположенный въ мѣстѣ истока изъ Ладожскаго озера Невы. Со всѣхъ сторонъ окруженъ высокими стѣнами. По угламъ башни. Стѣны сѣрыя, съ темными пятнами — слѣды сырости и плѣсени — невѣроятно мрачныя. Поднимаются прямо изъ-подъ воды. Ладожскія волны злобно бьются объ эти громады вотъ уже много сотенъ лѣтъ! Черезъ стѣны видны только трубы и золоченый шпиль колокольни.

Пароходъ къ самому берегу не подходитъ. Васъ пересаживаютъ въ лодку, наполненную жандармами. На маленькомъ клочкѣ земли, расположенномъ около воротъ, виднѣется цѣлая группа жандармскихъ офицеровъ. Нѣсколько поодаль — нижніе чины. Лодка направляется къ нимъ. Все окутано осеннимъ туманомъ.

Въѣздъ въ крѣпость напоминаетъ туннель; въ раскрытыя ворота виднѣется темная пропасть. У воротъ жандармы съ винтовками. Надъ воротами двуглавый орелъ и надпись громадными золотыми буквами: «Государева», въ простотѣ душевной

изображенная, очевидно, вмѣсто «государственная». Маленькая, невольная, можетъ быть, вслѣдствіе поспѣшности, ошибка, раскрывающая однако большую ошибку и ужасъ русской жизни: l'état c'est moi — государство — это я!

Маленькая ошибка, заключающая въ себѣ однако большую правду и все содержаніе Шлиссельбурга: мѣсто разсчета съ своими личными врагами.

У воротъ встрѣчаетъ цѣлая рота жандармовъ и по какимъ-то безконечнымъ лѣстницамъ, корридорамъ, казармамъ васъ, наконецъ, приводятъ въ пріемный покой.

Удивительное чувство охватываетъ васъ, когда вы входите въ ворота, вѣрнѣе, въ зіяющую темную пасть этой крѣпости. Подъ гулъ шаговъ, подъ лязгъ шашекъ, подъ бряцаніе шпоръ предъ вами поднимается весь мракъ таинственности, окутывающій эту «Государеву» охрану, всѣ ужасы, слышанные о ней. Встаютъ тѣни погибшихъ и образы томящихся тамъ, и вамъ невольно хочется пасть ницъ передъ этимъ мѣстомъ скорби и страданій, предъ этой голгофой русской революціи — нѣмой свидѣтельницей величавыхъ трагедій и геройскихъ мукъ. —

Точно у «святыхъ стѣнъ», — проносится въ мозгу, вызывая одно изъ забытыхъ впечатлѣній

ранняго дѣтства — разсказы старой-старой бабушки о посѣщеніи ея другомъ-старцемъ евреемъ — «святыхъ стѣнъ святого Іерусалима».

— «И было тихо, тихо кругомъ, шепчетъ ея старческій голосъ, — а мы съ замираніемъ сердца трепетно слушаемъ: — только большія птицы жалобно витаютъ въ облакахъ. Скорбь на землѣ и Богъ на небѣ! Стоитъ Нахманъ передъ святыми стѣнами. Вотъ тутъ сейчасъ, въ двухъ шагахъ Іерусалимъ, — нашъ святой Іерусалимъ, дѣтки...

И зашепталъ Нахманъ молитву, и ноги его задрожали, и онъ опустился на землю, и изъ груди его вырвался стонъ... И огласилъ этотъ стонъ всю пустыню, дѣти, и ударился онъ въ святыя стѣны, и полетѣлъ къ небу. А ангелы подхватили его и понесли къ Богу. И лежитъ Нахманъ ницъ, и обнимаетъ землю, и обливаетъ ее своими слезами. Большими слезами, какъ перлы. И шепчетъ, глядя на святыя стѣны: «Благословенъ Отецъ Богъ нашъ! Видѣлъ! видѣлъ святыню нашу! Было для чего жить!...» И взялъ себѣ Нахманъ на грудь смоченной его слезами святой земли и пошелъ»...

— «Бабуся, почему Нахманъ плакалъ?» — едва дыша, спрашиваемъ мы.

— «Тамъ вся слава наша и вся скорбь наша, дѣточки!»...

— «Тамъ вся слава наша и вся скорбь наша», какъ эхо проносится подъ сводами крѣпости.

Сердце бьется сильно и радостно въ гордомъ сознаніи, что на твою долю выпалъ рѣдкій удѣлъ переступить этотъ зловѣщій порогъ, что за тобой захлопнется дверь, захлопнется навсегда и ты очутишься хотя внѣ жизни, но на одномъ клочкѣ земли съ этими стойкими борцами...

Въ пріемномъ покоѣ, на одномъ изъ шкафовъ котораго красуется черепъ — какъ бы эмблема шлиссельбургскаго заточенія, съ васъ снимаютъ платье, раздѣваютъ до гола и облекаютъ въ арестантскій костюмъ. Бѣлье точно иглами жжетъ и колетъ все тѣло. Въ тяжеломъ громадномъ арестантскомъ одѣяніи съ непривычки чувствуешь себя, какъ въ мѣшкѣ. До поздняго вечера васъ держатъ здѣсь и вы стараетесь предугадать, куда же васъ, наконецъ поведутъ и гдѣ будутъ «содержать». Жандармы при васъ — нѣмые, какъ статуи — неотлучно.

Томительно долго и нестерпимо тоскливо тянется время. Со двора доносится скрипъ гармоники и отдаленные звуки залихватской солдатской пѣсни.

И васъ, какъ ножемъ, полосуютъ эти звуки, кажущіеся здѣсь такими кощунственными — точно

въ комнатѣ дорогого покойника заплясали комаринскую. «Неужели они здѣсь поютъ?» — думаешь съ недоумѣніемъ.

На дворѣ начинаетъ темнѣть. Прислушиваешься къ каждому шороху — вотъ, вотъ за тобой, думаешь. Но все мимо. Часовъ въ девять вечера являются два жандармскихъ офицера: — «одѣваться»!

Съ трудомъ натягиваешь на себя халатъ, а ноги теряются въ необъятныхъ «котахъ», подбитыхъ громадными, нестерпимо колющими, гвоздями. Вы собираетесь уже идти, какъ вамъ накидываютъ на голову башлыкъ, плотно обвязываютъ вокругъ шеи, жандармы подхватываютъ подъ руки и куда-то волокутъ.

Трудно передать то подавляющее впечатлѣніе, которое производитъ эта «ходьба» съ завязанными ртомъ и глазами. Впечатлѣніе тѣмъ мучительнѣе, что вы никогда объ этомъ пріемѣ не слышали, такъ какъ раньше онъ не примѣнялся, совершенно не ждете его, не понимаете его значенія и конечно, рисуете себѣ всякіе ужасы. Подвалъ, «дыбы», раскаленные щипцы, замурованіе въ каменный мѣшокъ — все лихорадочно проносится въ вашемъ воображеніи.

Вы чувствуете, что васъ ведутъ по какимъ-то лѣстницамъ, то вверхъ, то внизъ; потомъ васъ

обдаетъ свѣжій воздухъ; идете долго по каменнымъ плитамъ, проходите подъ какіе-то своды, гдѣ шаги отдаются невѣроятно гулко. Какіе-то темные корридоры, гдѣ слышенъ стукъ ружей. Опять ступени. Какъ будто спускаетесь въ какой-то подвалъ. Слышно, какъ громыхають желѣзныя ворота. Протискиваетесь черезъ какіе-то тѣсные проходы. Идете, идете, какъ будто безъ конца — и все время въ ушахъ отдается ужасный гулъ многочисленныхъ шаговъ. Дышите отрывисто спертымъ, скопившимся подъ башлыкомъ воздухомъ. И все время въ головѣ быстро, быстро смѣняются мысли, вся жизнь, точно зигзагами молніи, прорѣзывается въ сознаніи.

Вдругъ все останавливается. Вы какъ-то не замѣчаете, какъ съ васъ снимаютъ капюшонъ и васъ обдаетъ яркимъ свѣтомъ. Вы дико озираетесь кругомъ, щурясь отъ рѣжущаго глаза свѣта, стараясь сообразить, гдѣ вы.

Небольшая камера. Арестантская, привинченная къ стѣнѣ койка, желѣзная, вдѣланная въ стѣну доска-столикъ, рѣшетка: знакомая картина. Вся ватага жандармовъ высыпаетъ изъ камеры. Щелкаетъ замокъ. Вы остаетесь одинъ, начинаете приходить въ себя. Вашъ взоръ съ тревогой и трепетомъ скользитъ по камерѣ.

Вотъ оно, наконецъ, шлиссельбургское сидѣніе!

Вы даже приблизительно не представляете себѣ, гдѣ вы: погребъ ли это, въ какой это части крѣпости, есть-ли здѣсь еще какія-либо камеры, что представляетъ собой это зданіе — сплошная загадка.

Тишина подавляющая. Вы слышите тишину, ощущаете ее. Какъ будто очутились на какомъ-то мертвомъ островѣ. Только каждыя нѣсколько минутъ къ глазку тихо, тихо кто-то подкрадывается мягкими кошачьими шагами и наблюдаетъ за вами.

Угнетенный всѣмъ пережитымъ и перечувствованнымъ, вы бросаетесь на койку, но, конечно, не смыкаете глазъ.

Все свершилось — вы на шлиссельбургской койкѣ! Кто лежалъ на ней до васъ? Кто переживалъ на ней тѣ-же чувства? Какіе ужасы развертывались вотъ здѣсь, въ этихъ четырехъ стѣнахъ? Быть можетъ, приговоренные къ казни проводили здѣсь послѣднія ночи? Быть можетъ, здѣсь отъ нестерпимой тоски по жизни сходили съ ума? Быть можетъ, здѣсь себя сжигали, перерѣзывали горло, истекали кровью? . . . А теперь вотъ выбѣлено, вычищено, и погибшимъ, выбывшимъ ты приходишь на смѣну . . .

На смѣну!... Какъ бы только такъ же стойко, такъ же непримиримо стоять на этомъ новомъ, долгомъ-долгомъ, безсмѣнномъ посту, какъ непримиримо и стойко стояли они, старые ветераны!...

Глава III.

Тихо. Черезъ тюремное окно неясно виднѣются желѣзныя полосы рѣшетки, расплывающіяся въ черномъ мягкомъココмракѣ. Доносятся какіе-то неопредѣленные звуки, не то какой-то шелестъ, не то заглушаемый далекій стонъ разбивающихся о крѣпостныя громады ладожскихъ волнъ. Только отчетливо гдѣ-то наверху *) слышатся гулкіе шаги, то приближающіеся, то удаляющіеся.

Подъ этотъ тихій шелестъ и эхо шаговъ предъ вами снова и снова властно развертывается прошлое Шлиссельбурга.

Краткое, но мрачное и кровавое.

Длинной вереницей проходятъ передъ вами эта многолѣтняя безпрерывная борьба, эти голодающіе, готовые заморить себя, эти разстрѣлянные, стремившіеся своею смертью улучшить участь

*) Крѣпостныя стѣны очень широкія — говорятъ, аршинъ въ десять. На верху устроена галлерея, по которой ходятъ взадъ и впередъ четверо вооруженныхъ жандармовъ.

оставшихся, вѣшавшіеся, сжигавшіеся, умершіе отъ тоски и истощенія, сошедшіе съ ума, оставшіеся въ живыхъ, но надломленные, разбитые, — вся эта кровавая, скорбная лѣтопись стойкости и борьбы съ одной стороны, безумнаго звѣрства и дикой злобы съ другой.

Призраки, мертвые и живые всю ночь наполняютъ камеру, привѣтствуя собрата на новосельи...

Рано утромъ открывается форточка: — кипятокъ! — Нужно одѣваться. Кранъ здѣсь же въ камерѣ. Клозетъ тоже. Выходить, значитъ, никуда не нужно: предусмотрительно! На верху, на стѣнѣ, прямо противъ окна стоитъ часовой — жандармъ.

Черезъ часъ открывается дверь, входятъ два жандарма, прибиваютъ къ стѣнѣ печатную «инструкцію» для заключенныхъ въ крѣпости — россійскую конституцію, какъ въ шутку прозвали мы эти правила.

Запрещается говорить, пѣть, свистѣть, стучать, вообще «производить какой-либо шумъ».

Должно безпрекословно исполнять требованія начальника и жандармскихъ унтеръ-офицеровъ.

За незначительные проступки — по усмотрѣнію начальника — карцеръ, кандалы, темный карцеръ. За болѣе значительные — 50 розогъ.

За оскорбленіе кого-либо изъ начальствующихъ лицъ и какія-либо тяжкія преступленія — смертная казнь.

У россійскаго «гражданина» не много правъ. Но странное чувство охватываетъ васъ, когда съ васъ снимаютъ «вольное платье» и облекаютъ въ арестантскій халатъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ оффиціальное уже безправіе. «Арестантъ», «лишенный правъ» — сколько разъ произносишь эти слова на волѣ и совершенно не вдумываешься въ ихъ зловѣщій смыслъ.

Попадая въ руки «начальства», уясняешь себѣ все ихъ значеніе. Чувство безпомощности, сознаніе, что въ каждую минуту, изъ за какого-либо пустяка, изъ за мелочи можешь попасть въ какую-нибудь «исторію», — все время совершенно отравляетъ твое существованіе. Прекрасно сознаешь, что все зависитъ отъ тюремной администраціи.

Не хочетъ она вызывать исторій, не хочетъ она отравлять жизнь заключеннымъ — все въ тюрьмѣ будетъ тихо и спокойно. Захочетъ она выдвинуться, отравить вамъ жизнь, сдѣлать самое существованіе невозможнымъ — и вы не поручитесь, что въ любой моментъ, помимо своей воли, сознательно не пойдете на «исторію», которая можетъ кончиться кандалами, прикладами,

разстрѣломъ, о быть можетъ и чѣмъ-нибудь худшимъ... Каторжанъ, какъ кошмаръ, преслѣдуетъ существующее наказаніе, въ видѣ розогъ. Васъ могутъ подвергнуть тѣлесному наказанію — вотъ что всегда леденящимъ ужасомъ стоитъ передъ вами!

Конечно, вы не дадитесь. Конечно, они овладѣютъ вами только полуживымъ. Но все же, пока вы въ одиночномъ заключеніи, они могутъ вами въ концѣ концовъ овладѣть и эта мысль долгое время не даетъ вамъ покоя. Съ тревогой присматриваешься первое время къ окружающимъ жандармамъ. Что это — люди или звѣри? Стараешься опредѣлить каждаго въ отдѣльности, выяснить — кого надо опасаться и кто является болѣе невиннымъ.

Проходитъ дня три, — вы никого не видите. Изъ камеры васъ не выводятъ и вы все еще не знаете, гдѣ вы находитесь. На третій день въ полдень, наконецъ, открывается камера: — «на прогулку!» — Кое — какъ напяливаешь на себя халатъ; громыхая необъятными «котами», едва сдерживая нетерпѣніе, торопишься скорѣе увидѣть — куда тебя помѣстили. Оказывается — въ старую тюрьму или — на мѣстномъ нарѣчіи — «сарай».

Это низкое, придавленное къ землѣ зданьице, помѣщенное въ цитадели (крѣпость въ крѣпости), шаговъ въ 15 ширины и 50 — длины. Обоими кон-

цами упирается въ крѣпостныя стѣны. Зданіе очень старое, когда то служило помѣщеніемъ для стражи Іоанна Антоновича, камера котораго находится тутъ же. Зданіе прогнившее, пропитанное сыростью и всевозможными міазмами насквозь, такъ что, не смотря ни на какую топку и окраску, стѣны моей камеры (самой темной и сырой, такъ какъ она крайняя и прилегаетъ къ наружной крѣпостной стѣнѣ, выходящей на озеро) отъ пола на аршинъ покрыты плѣсенью, точно бархатными шпалерами, и съ нихъ прямо сочится вода.

Въ этомъ корпусѣ находится всего десять камеръ. Длинный во все зданіе корридоръ, съ низкимъ потолкомъ. Черный каменный полъ. По одну сторону корридора расположены камеры. Въ корридорѣ вѣчный полумракъ. Воздухъ спертый, тюремный.

Гулять выводятъ въ простѣнокъ — шаговъ въ десять — между «сараемъ» и крѣпостной стѣной. Пространство это перегорожено на двѣ части. По срединѣ узенькая дорожка шаговъ въ двадцать — тутъ и прогулка. На другомъ дворикѣ, прямо противъ окна моей камеры, былъ казненъ и похороненъ Степанъ Балмашевъ.

«Прогулка». Два жандарма на дворикѣ, одинъ съ винтовкой на стѣнѣ. Проходитъ пятнадцать минутъ — раздается окрикъ: «кончать прогулку!»

Тѣмъ же путемъ идешь обратно. Первое время при возвращеніи съ прогулки въ тюрьму васъ такъ и обдаетъ тяжелый, промозглый воздухъ корридора. Послѣ нормальнаго свѣта на прогулкѣ особенно давитъ тяжелый полумракъ тюрьмы. Приходится проходить весь корридоръ, въ концѣ котораго имѣется узенькій — шага въ два — уже совершенно темный корридорчикъ; онъ то и ведетъ въ камеру.

Система заключенія, надо отдать имъ справедливость, удивительно совершенная. Жандармы вышколены и слѣдятъ другъ за другомъ такъ, что никогда вамъ не удается остаться хотя бы на нѣсколько секундъ съ глазу на глазъ. Даже комендантъ, жандармскіе офицеры и докторъ не имѣютъ права входа въ камеру безъ дежурнаго жандарма. Обыски въ камерѣ постоянные. Вещей никакихъ нѣтъ — все на виду.

Изъ живого міра не долетаетъ ни одного звука. Конечно, никакихъ свиданій, переписки, газетъ, журналовъ и пр. Имени нѣтъ. Номеръ такой-то. И удивительно быстро вы начинаете терять представленіе о живомъ мірѣ. Однообразіе обстановки, котораго вы не встрѣтите ни въ одной тюрьмѣ, невольное чувство, что въ этой обители будетъ протекать вся ваша жизнь, отсутствіе даже мысли о возможности попытки установить какія либо сно-

шенія, сознаніе необходимости примириться съ этой изолированностью, — все это создаетъ такую невѣроятную оторванность, что вы очень скоро начинаете себя чувствовать совершенно внѣ жизни.

Никого — кромѣ жандармовъ. Ничего — кромѣ каменныхъ стѣнъ. Особенно тягостно и разрушающе дѣйствуетъ на психику зимняя обстановка. Все — и небо, и воздухъ, и стѣны, и вы сами, и жандармы, — все покрыто какимъ-то однообразнымъ сѣровато-бѣлымъ цвѣтомъ. Все сливается въ одно, въ какую то мертвую каторжно-сѣрую массу.

И это чувство отсутсвія жизни порою такъ сильно, что вы начинаете тревожно думать: — да полно, — не сонъ-ли все то, что представляется въ прошломъ? Неужели дѣйствительно была эта жизнь, эта борьба, эта дѣятельность?... Это не сонъ — всѣ эти люди, эти товарищи, эти партіи?... Неужели все это было?... И такъ недавно?... И вотъ тутъ, за этими стѣнами, дѣйствительно течетъ живая жизнь?... Тутъ, всего въ двухъ шагахъ, стоитъ только перебраться черезъ стѣну и Неву?... Настоящая, живая жизнь?...

— Да, настоящая живая жизнь, — шепчетъ другой голосъ, — и никогда, никогда ея больше

не будетъ . . . . Никогда! Какое ужасное слово, когда за нимъ слѣдуетъ — навсегда! Вотъ эта жизнь — сѣрая, мертвая — она теперь навсегда! . . .

И передъ вами, точно пугающіе призраки, вытягивается длинная безконечная вереница дней, недѣль, мѣсяцевъ, годовъ! Жутко дѣлается и дрожь охватываетъ васъ всего. Боги! Сколько ихъ этихъ мѣсяцевъ, годовъ! . . И всѣ ихъ надо «прожить», всѣ ихъ надо наполнить. Пять! десять! двадцать! тридцать! . . . . Тридцать лѣтъ! Неужели? Неужели тридцать лѣтъ?! . . . .

Воображеніе начинаетъ мучительно, болѣзненно работать, силясь реально представить себѣ эти тридцать лѣтъ, охватить ихъ однимъ взглядомъ. Передъ вами разстилается дорога — узенькая, узенькая тропинка, ведущая въ гору. Тропинка все увеличивается, все удлиняется, удлиняется и вы провидите, охватываете такую неимовѣрную даль, что у васъ голова начинаетъ кружиться и сердце тоскливо сжимается: — всю? неужели всю эту даль нужно пройти? Но какъ? Какъ?! . .

Постепенно складывается представленіе и ощущеніе каменнаго гроба. Все бывшее, прежнее, истинное, виднѣется въ какомъ то далекомъ, неясномъ туманѣ.

И чѣмъ больше оно — это прошлое — кажется безнадежно потеряннымъ и бывшимъ когда то въ далекія, далекія времена, тѣмъ настойчивѣе и упорнѣе возвращаются къ нему мысли. «Воспоминанія — бичъ несчастныхъ!» Несчастныхъ — это для насъ неподходящее слово; скажемъ лучше — бичъ для тѣхъ, у кого кромѣ воспоминаній ничего не осталось. Все прежнее покрывается розовой дымкой. Шипы пропадаютъ, о нихъ забываешь, остаются и помнятся только однѣ розы.

Но любопытно! Преслѣдуютъ воспоминанія не только изъ жизни боевой, партійной, т. е. не только то, что составляло весь смыслъ и содержаніе жизни. Въ силу контрастовъ — въ холодъ, въ бурю, когда все заметаетъ кругомъ снѣгомъ, когда въ камерѣ тускло, уныло, безнадежно мертво, — васъ преслѣдуетъ ароматъ сосноваго лѣса, весенній вечеръ, берегъ рѣки. Встаютъ картины безконечно далекаго, давнымъ давно забытаго дѣтства и черезъ желѣзные затворы властно, безудержно прорывается ласкающій шепотъ едва распустившагося лѣса и безпечное, звонкое дѣтство.

Неустанно, безсмѣнно мысли возвращаются и безпомощно бьются у вопроса: — что же тамъ, въ странѣ? Какъ война? — Заключенные, какъ дѣти. Настроенія ихъ измѣнчивы. То ясно, какъ

божій день, разсчитываешь, что Японія должна разбить обкрадываемую и развращаемую русскую армію, а стало быть и весь режимъ. Ясно, математически высчитываешь, что режимъ этотъ можетъ продолжаться только до конца войны, а потомъ . . .

Яркія, обольстительныя картины возрожденія Россіи смѣняются тяжелыми думами: вотъ тамъ — рядомъ сидятъ люди почти четверть вѣка. И четверть вѣка тому назадъ, входя сюда, они навѣрное такъ же ясно представляли себѣ и вѣрили въ близость и неизбѣжность крушенія строя, какъ вѣришь ты. А между тѣмъ — юноши превратились въ старцевъ, а этотъ строй все еще держитъ ихъ въ своихъ каменныхъ объятіяхъ. Гдѣ гарантія, что мы теперь такъ же не ошибаемся, какъ ошибались тогда они?

Конечно, режимъ осужденъ на смерть; конечно, онъ умретъ, но что значитъ въ исторіи страны четверть вѣка?! . .

Помню, какъ-то разъ, въ октябрѣ-ноябрѣ видѣлъ вскользь коменданта; меня какъ ножемъ полоснуло: къ старому пальто пришиты новыя пуговицы съ орлами.

Нѣсколько дней ходилъ какъ убитый, никакъ не умѣя разгадать тяжелую загадку: по какому поводу жандармы получили «государственный

гербъ» на пуговицахъ. Если имъ дано такое отличіе, значитъ, жандармы въ силѣ и славѣ, — значитъ свобода по старому въ безсиліи и поношеніи. Увидишь, что жандармы что нибудь собираются чинить, — снова «душа опускается», — значитъ собираются еще долго существовать, значитъ завтрашній день еще не принадлежитъ намъ, если они о немъ думаютъ.

Наоборотъ, увидишь грустныя, тревожныя лица, смущеніе и раздуміе духъ снова взлетаетъ къ небу, снова ясно видишь, что Россія вотъ-вотъ должна быть свободна и будетъ свободна. Десять разъ на день смѣняются эти настроенія. Вся жизнь протекаетъ въ безконечномъ мірѣ фантазій и гаданій: внѣшняя жизнь ограничена камерой, корридоромъ и тропинкой въ двадцать шаговъ для прогулокъ.

Такъ или иначе «жизнь» входитъ въ колею. Трудно сказать: ты ли приспосабливаешь жизнь, жизнь ли приспосабливаетъ тебя, — но сліяніе происходитъ. Входишь въ курсъ шлиссельбургской жизни, ея интересовъ и заботъ, ея радостей и печалей.

Радости и печали, особенно радости, не весьма крупнаго размаха. Но надо быть «безсрочно заточеннымъ», чтобы понять, какъ такія, казалось бы, мелочи играютъ такую большую роль въ жизни

заключенныхъ. И въ этомъ то вся трагедія!

Сколько, напримѣръ, пережито дней тревогъ по вопросу, дадутъ ли кусокъ мыла? И съ какой восторженной радостью вы, стараясь скрыть эту радость, хватаете изъ рукъ жандарма выданный маленькій кружечекъ мыла. И когда вы полученнымъ мыломъ намыливаете руки и любуетесь какъ много грязи стекаетъ въ раковину, жизнь кажется такой легкой... «Ничего, жить можно... собственно, не такъ оно ужъ и плохо!»...

Но вотъ портянка истрепалась; на дворѣ холодно, ноги мерзнутъ на прогулкѣ. И эта истрепанная портянка вызываетъ цѣлый рядъ мрачныхъ мыслей, служитъ причиной унынія многихъ дней.

Единственныя живыя существа, съ которыми сводишь совершенно безкорыстную дружбу, — это воробушки и галки. Зимою, очевидно вслѣдствіе недостатка пищи, они дѣлаются удивительно уживчивыми. Въ нѣсколько недѣль ихъ такъ пріучаешь къ себѣ, что они принимаютъ пищу прямо изъ рукъ, садятся на колѣни, на плечи и пр.

Странную, вѣроятно, картину представляла бы для «наблюдателя съ небесъ» эта дружба: высокія крѣпкія стѣны, вооруженные жандармы и

въ арестантскомъ халатѣ преступникъ, миролюбиво дѣлящій трапезу между воробушками и галками . . .

Глава IV.

Постепенно ухо настолько привыкаетъ, что разбираешься во всѣхъ звукахъ, отъ поры до времени раздающихся въ тюрьмѣ. Иногда издалека доносится слабый заглушаемый звукъ ударовъ молота о наковальню. Очевидно, это «старики» гдѣ то работаютъ въ кузницѣ.

Значитъ мастерскія опять открыли?

И кузница кажется тебѣ верхомъ счастья. Есть же такіе счастливцы, съ невольной завистью думаещь о нихъ, представляя себѣ этихъ старцевъ, бьющихъ молотами раскаленное желѣзо . . .

Кипятокъ и обѣдъ разносятся жандармами и передаются черезъ дверныя форточки.

Какъ они ни стараются продѣлывать это незамѣтно, въ концѣ концовъ выясняется, что въ камерѣ, помѣщающейся въ противоположномъ концѣ корридора, кто то сидитъ. Очевидно больной, такъ какъ слышишь, что туда часто ходитъ докторъ. Кто бы это могъ быть?

Не иначе, какъ Качура, дѣлаешь заключеніе *). Въ первыхъ числахъ января заключенный исчезъ. Ужъ не повезли ли его опять на судъ для новыхъ оговоровъ?!

Черезъ нѣсколько недѣль начали усиленно топить двѣ боковыя камеры, расположенныя съ другого конца корридора. — «Новые заключенные? Жертвы оговора Качуры?» — Внимательно прислушиваешься къ малѣйшему шороху, стараясь не пропустить момента появленія новыхъ жильцовъ, если таковые дѣйствительно ожидаются.

29-го января (1905 г.) съ утра замѣтно было какое то необычайное движеніе: что то прибивали, что то выносили, что то чистили. Весь вечеръ простоялъ, приложивъ ухо къ двери. Часовъ въ восемъ вдругъ слышится, какъ громыхаютъ желѣзные затворы входныхъ дверей. Черезъ нѣсколько минутъ — гулъ шаговъ и ясно выдѣляющійся стукъ «котовъ» о каменный полъ. Потомъ все стихаетъ; слышно, какъ запирается камера и снова удаляющіеся шаги. Минутъ черезъ пятнад-

*) Потомъ уже, когда Шлиссельбургъ былъ расформированъ, узнали, что тамъ съ 1902 г. сидѣлъ несчастный Чепегинъ, сразу надломившійся. Онъ заболѣлъ — развилась цынга и тихое помѣшательство. Теперь, говорятъ, его перевели въ Валаамскій монастырь.

пять та же исторія. Значитъ — привезли двоихъ. Но кого? Расплата ли это за старыя дѣла или же за новыя? Дѣлаешь всевозможныя усилія, чтобы хоть приблизительно узнать, кто эти вновь привезенные, — но все напрасно.

Время идетъ. Никакихъ вѣстей, никакихъ перемѣнъ въ положеніи. Потянуло теплюмъ. Начало таять. Громадные сугробы снѣгу, которыми былъ заваленъ дворикъ, сѣрѣютъ и уменьшаются. Воробушки неистово чирикаютъ и воркуютъ парочками. Уже годъ послѣ суда. Странно! Безнадежно медленно тянется настоящее, т. е., переживаемый день. Но прожитое какъ будто валится въ пропасть. И оглядываясь назадъ, невольно спрашиваешь себя: «неужели уже годъ прошелъ?»

Чѣмъ дальше дѣло идетъ къ веснѣ, тѣмъ отвратительнѣе и нестерпимѣе въ камерѣ. Стѣны окончательно отсырѣли, и даже масляная краска, которой покрытъ низъ, размякла въ тягучую слизкую массу. Сырость такая, что соль въ солонкѣ расплывается. Топка не помогаетъ. Сколько времени будутъ здѣсь держать? Любопытно, что даже при Толстомъ «сарай» служилъ только карцеромъ. Больше 2—3-хъ недѣль въ самыя мрачныя времена Шлиссельбурга тамъ никого не держали. Плеве распорядился вновь прибывающихъ выдерживать въ чистилищѣ. Но сколько держать

— это, конечно, въ полной власти департамента полиціи.

Доведется ли увидѣть «стариковъ»? Вѣдь если къ нимъ примѣнили манифестъ 11-го августа 1904 года, — а казалось совершенно невозможнымъ, чтобы къ людямъ, просидѣвшимъ свыше двадцати лѣтъ, онъ не былъ примѣненъ, — они всѣ должны быть уже вывезены, и въ Шлиссельбургѣ изъ «стариковъ» могъ остаться только одинъ Карповичъ.

Съ унтерами-жандармами жилъ въ ладу, но узнать все таки ничего не могъ. Хотѣлось допытаться только одного: взятъ ли Портъ-Артуръ или нѣтъ? Никакими хитростями выманить извѣстіе не удавалось. И только уже лѣтомъ одного вояку удалось таки обойти. Былъ знойный праздничный день. Жандармы только что смѣнились на дежурствѣ. Очевидно, побывали въ гостяхъ и размякли.

Настроеніе благодушное. Мы — «на прогулкѣ». Воробушки забрались въ кустикъ и чирикаютъ.

— А ну, давай, поймаемъ, — говоритъ одинъ. Легъ на брюхо и, крадучись хочетъ незамѣтно подобраться къ птичкѣ.

— Вотъ бы васъ, говорю: назначили на мѣсто

Куропаткина; пожалуй, сцапали бы японца, какъ воробушка, а?

— Чтожъ, пожалуй, и назначутъ. Какъ разъ мое мѣсто!

— Ну, теперь то ужъ поздно. Куропаткинъ то Портъ-Артуръ просвистѣлъ, вытурить оттуда японца, пожалуй, что и не удастся?

— Чего просвистѣлъ? Нешто Куропаткинъ виноватъ, коли ему солдатъ не доставляли? Японцамъ то рукой подать, а наши пока добрались, крѣпость то и пришлось сдать, отстаиваетъ унтеръ честь воинства.

— Ну, ничего! Стессель сдалъ, — на то онъ и генералъ; вы опять возьмете, успокаиваешь его, а самъ весь дрожишь: палъ Портъ-Артуръ!!...

Двѣ побѣды: одна, одержанная мною надъ россійскимъ жандармомъ, другая — одержанная японцами надъ россійскимъ непобѣдимымъ воинствомъ долгое время держатъ въ приподнятомъ настроеніи. Палъ Портъ-Артуръ — падетъ самодержавіе, — таковъ лейтъ-мотивъ твоихъ мыслей. Больше къ сожалѣнію узнать ничего не удалось, такъ какъ потомъ, очевидно, жандармы спохватились, что попались на удочку, и разговоровъ о войнѣ не поддерживали. Удалось только узнать, что война еще не кончилась и что «хвастать нечѣмъ».

Самой жизни въ Шлиссельбургѣ описывать не буду: объ этомъ писалось уже достаточно людьми, болѣе меня компетентными. Я коснусь только тѣхъ сторонъ, которыя не могли быть затронуты другими.

Чѣмъ дальше подвигалось время, тѣмъ все усиливалась тревога: переведутъ-ли когда-нибудь въ новую тюрьму или такъ здѣсь въ чистилищѣ и будутъ держать до скончанія вѣковъ или . . . самодержавія? Со дня приговора прошло уже больше года, а говорили, что по истеченіи этого срока предполагаютъ переводить на общее положеніе. Но пока что ничего не слыхать было.

Глава V.

Въ концѣ іюля неожиданно является въ камеру комендантъ и, въ нарушеніе всѣхъ правилъ*), высылаетъ дежурнаго жандарма. Дверь закрывается и комендантъ совершенно конфиденціально сообщаетъ такую загадочную исторію.

— Мнѣ — пока еще секретно — сообщили, будто департаменту полиціи стало извѣстнымъ, что вы переслали какое то письмо отсюда. Произ-

*) По инструкціи въ камерѣ съ глазу на глазъ съ заключеннымъ никто не въ правѣ оставаться.

водится слѣдствіе. Конечно, вы можете мнѣ ничего не отвѣчать, но я все таки рѣшилъ прямо спросить у васъ, чтобы я зналъ, какъ приблизительно себя держать . . .

— При другихъ обстоятельствахъ я бы, полковникъ, конечно, ничего вамъ не сказалъ, но теперь я могу сказать: для меня ясно, что тутъ интриги Плеве и департамента полиціи. Къ сожалѣнію, я никакого письма не посылалъ. Просто хотятъ что-нибудь придумать, чтобы имѣть возможность «въ наказаніе» держать еще въ этомъ сараѣ . . . Это какъ разъ похоже на Плеве.

— Да, это былъ большой іезуитъ, вырвалось у коменданта.

«Былъ?!» — Тревожныя мысли забѣгали въ головѣ: чувствую, что комендантъ сболтнулъ и теперь ему не по себѣ; удастся ли что-нибудь узнать? Дѣлаю видъ, что не обратилъ вниманія на его слова. Заговорили о курьезной исторіи съ письмомъ *), о курьезахъ вообще, перешли на ми-

*) Я, дѣйствительно, никакого письма не передавалъ. Правда, позже, въ Бутыркахъ уже, я узналъ, что въ декабрѣ 1904 г. петербургскій братъ утромъ нашелъ у себя въ ящикѣ для писемъ конвертъ съ запиской «вашъ братъ Г. А. шлетъ низкій привѣтъ. Онъ въ Шлиссельбургской крѣпости. Чувствуетъ себя хорошо и бодро. Будьтэ покойны». — Для родныхъ, которые никакъ не могли въ департаментѣ полиціи до-

нистровъ, и между прочимъ спрашиваю: министромъ внутреннихъ дѣлъ теперь вѣдь уже не Плеве?

Комендантъ нѣсколько замялся, но все же сказалъ: — «да, теперь уже другой на его мѣстѣ».

— А Плеве, что-жъ, другой постъ получилъ?

— Да, знаете, какъ обыкновенно . . . что то, кажется, за границу поѣхалъ, что ли . . .

Комендантъ ушелъ; и для меня настали дни, полныя жгучихъ тревогъ . . . «Плеве ушелъ!»

Тяжесть удара для Партіи казалась невѣроятной. Человѣкъ проклинаемый и ненавидимый всей страной, воплощеніе деспотизма и насилія, беззастѣнчиваго глумленія надъ лучшими чувствами народа, — ушелъ и всѣ его преступленія останутся безнаказанными! . . .

Его жизнь казалась оскорбленіемъ общественной совѣсти и вѣчнымъ укоромъ Партіи . . .

Не успѣло еще улечься это тревожное состояніе, какъ черезъ нѣсколько недѣль получилъ, съ

биться даже извѣстія, гдѣ я и живъ ли, записка эта принесла много радости и успокоенія, но я и по сейчасъ не догадываюсь, кто былъ этотъ доброжелатель. Дѣло онъ сдѣлалъ хорошее. Быть можетъ, когда настанутъ лучшіе дни, онъ откроетъ свое инкогнито. Не думаю, что теперь рѣчь шла объ этой запискѣ.

разрѣшенія комендапта — «сельско-хозяйственный журналъ «Хозяинъ» за 1904 г.»

Свѣжій журналъ!!!*)

Первую минуту все въ головѣ перемѣшалось. Руки дрожатъ, бросаешься отъ одного номера къ другому, точно проглотить желая все сразу. Читаешь не словами, не строками даже, а цѣлыми страницами. Паденіе Портъ-Артура! Еще какія то неудачи... банкеты... заявленія... протесты... Весна! Весна какая то наступила!!! Указъ 12-го декабря... На этомъ обрывается...

Такъ вотъ оно что! Значитъ, сорвало таки плотину! Снесло таки!...

Журналъ спеціальный, сельско-хозяйственный. Только въ ядовитыхъ обзорахъ Энгельгардта стараешься изловить что нибудь, для Шлиссельбурга запрещенное. Плеве гдѣ? что съ Плеве?!.. Наконецъ, въ какой то замѣткѣ вскользь попадается фраза: «печальное наслѣдство покойнаго Плеве...» Покойнаго?! Плеве умеръ?! Въ сентябрѣ прошлаго года?! Охватившее тебя волненіе не поддается никакому представленію. Самъ умеръ?!... Такъ, свершивъ въ предѣлахъ земного все земное опочилъ?

---

*) Опозданіе на $1^1/_2$ года въ Шлиссельбургѣ не уменьшаетъ даже у сельско-хозяйственныхъ журналовъ свѣжести.

Вѣдь если вся эта весна — результатъ не непосредственнаго напора общественныхъ силъ, революціонныхъ организацій, а такъ . . . «признанія за благо», временной растерянности и платоническаго желанія испытать новые пути, когда «крамола побѣждена», — то вѣдь все это гроша мѣднаго не стоитъ, а революціонныя силы отодвигаетъ въ сторону . . . А можетъ быть . . . можетъ быть, умеръ то не волею божіей, а волей Партіи? . . . . И упорно, настойчиво ищешь цѣлыми днями, не найдется ли хоть малѣйшій намекъ, почему Плеве оказался покойнымъ? . . . Десятокъ разъ просматриваешь всѣ номера — никакихъ указаній.

Настали самые тревожные дни. Чувствуется, что тамъ — на волѣ — разыгрывается нѣчто безконечно, безконечно громадное, но что, именно, происходитъ — даже приблизительно не можешь себѣ реально представить. Что то начинается! Но кто начинаетъ? Какова степенъ участія сознательныхъ силъ? сознательно разрушающей и сознательно созидающей? Какова роль и вліяніе Партіи?! . . Годъ прошелъ съ появленія «весны»; что же тамъ теперь? Вѣдь если бы за «весной» послѣдовало «лѣто» — насъ не было бы уже здѣсь . . . значитъ, опять послѣ минутнаго просвѣта, — тотъ же мракъ?! . . . .

Въ такомъ мучительномъ состояніи прошло

шесть недѣль, каждый день котораго казался цѣлой вѣчностью. Срокъ перевода въ новую тюрьму давно истекъ. Неужели такъ и не переведутъ?!..

13-го сентября является комендантъ. Жандармы уходятъ и запираютъ за нимъ дверь. Комендантъ необыкновенно радостенъ и лучезаренъ.

— Ну, г. Г., привезъ вамъ пріятное извѣстіе: послѣ долгихъ моихъ хлопотъ удалось добиться у министра разрѣшенія перевести васъ въ новую тюрьму.

— Когда?

— Да сейчасъ! Вотъ только камеру приготовятъ тамъ.

— Это, дѣйствительно, пріятное извѣстіе! Значитъ, чистилищу конецъ!

— Конецъ, конецъ! Да многому, знаете, теперь конецъ!

— Напримѣръ?

Пауза. Комендантъ о чемъ то думаетъ, какъ бы не рѣшаясь начать говорить; у арестанта душа застыла отъ трепетнаго ожиданія.

— Большія перемѣны! Новый строй идетъ!

— Новый строй?

— Да! Созывается Государственная Дума, — знаете, вродѣ парламента... Коротко говоря — конституція...

— Конституція?! Скажите, полковникъ, японцы то, вѣроятно, здорово насъ вздули?

— Здорово, батюшка, здорово! — безнадежно машетъ рукой комендантъ.

— А конституцію то, что же, Плеве далъ?

— Плеве?! Полковникъ наклоняется и говоритъ тихо на ухо: — на куски разорванъ!..

— Какъ! Убитъ? Кѣмъ?...

— Да вотъ рядомъ съ вами сидитъ — Сазоновъ... бомбу бросилъ.... все разнесено....

— И Сазоновъ живъ, не казненъ?

— Времена, батюшка, не тѣ!...

— А потомъ какъ?... все успокоилось? Больше террористическихъ актовъ не было?.... Сюда то никого больше не привозили? А казней тоже не было?

— Нѣтъ, казней не было. Кажется, все спокойно.

— А какъ же теперь-то все таки, полковникъ? Вѣдь конституція-то выходитъ вещь и не такая ужъ дурная? Но вѣдь мы-то тутъ тоже койчѣмъ потрудились? И нашего, пожалуй, тутъ капля меду есть....

— Да, кто споритъ?... Ну, шла борьба; теперь вотъ признано своевременнымъ! Что жъ, можете теперь испытывать чувство удовлетворенія..... а тамъ видно будетъ.

— А война какъ? Кончилась?

— Слава Богу, кончилась!

— Значитъ, конецъ войнѣ и внѣшней и внутренней.... Теперь все по новому пойдетъ?

— По новому, по новому! Большія перемѣны пошли, многозначительно повторилъ полковникъ.

— Ну, теперь соберите вещи, приготовьтесь. Черезъ часъ придетъ помощникъ — переведетъ васъ. Тамъ лучше будетъ.

Комендантъ ушелъ, я остался одинъ. И снова, какъ полтора года назадъ, послѣ ухода Остенъ-Сакена, объявившаго, что «жизнь дарована», сердце замираетъ подъ напоромъ чего то безконечно, безконечно большого. Въ сущности, это — та же «жизнь дарована», только въ неизмѣримо большихъ размѣрахъ. Судьба сжалилась надъ несчастной страной. «Жизнь дарована» великому народу. Конечно, не дарована, а вырвана, но не въ томъ теперь вопросъ. Теперь жизнь сохранена, теперь можно въ Россіи жить!

Въ груди точно молоты бьютъ. Дыханіе порывисто — не хватаетъ воздуху. Руки дрожатъ и трепетно сжимаютъ голову, охваченную вихремъ мыслей.

Плеве взорванъ... Сазоновъ живъ и здѣсь... Армія разбита.... Государственная Дума... Конституція... Новая жизнь... И это не во

снѣ?!.. И до всего этого дожилъ! Дожилъ!... И собственными глазами увидишь обновленную, освобожденную Россію!... Онъ говоритъ: казней больше не было... все успокоилось... значитъ, они — правительство — поняли, наконецъ, свое безумное упрямство? Сдались или стерты народнымъ напоромъ? Новая жизнь... а вотъ эти павшіе бойцы, которые лежатъ въ ямахъ тутъ, за стѣной, они уже этой новой жизни не увидятъ!....

Но . . . забвеніе . . . забвеніе! . . . «Новая жизнь?» . . . .

И уже дѣйствительно въ Россіи можно будетъ жить? Уже не нужно будетъ убивать?.... Уже не нужно будетъ умирать за убійства? Насталъ уже этотъ благословенный моментъ?.... Проклятая нами кровавая борьба, возложенная па наши плечи проклятымъ кровавымъ режимомъ, насталъ таки ей конецъ?.... Револьверъ и бомба могутъ уже быть оставлены тамъ, за порогомъ этой новой жизни, какъ мрачное наслѣдіе мрачнаго безправія, какъ мрачное орудіе защиты отъ дикаго произвола и насилія властныхъ и сильныхъ надъ безправными и слабыми?.... Кончилось все это? Истерзанная родина не требуетъ уже больше жертвъ? Кроткіе и любящіе не вынуждены уже будутъ брать въ руки кровавый мечъ?....

Слово правды и справедливости замѣнило, наконецъ, бойцамъ за счастье и свободу трудящихся револьверъ и бомбу?.... И все это уже случилось? И тамъ, на волѣ, за этими стѣнами, *уже* все это есть?!....

Но погибшіе? Но измученные и павшіе въ казематахъ, въ сугробахъ Сибири, въ рудникахъ? Всѣ эти жертвы сверженнаго теперь чудовища, ихъ какъ вернуть? И эти сотни-тысячи разбитыхъ молодыхъ жизней, и все темнымъ мракомъ вѣками висѣвшее надъ страной?!...

Забвеніе! Забвеніе!... Голоду, холоду, вѣкамъ рабства и угнетенія, тьмѣ и невѣжеству, грабежу и насилію, всѣмъ преступленіямъ, сытой и злобной власти надъ народомъ — забвеніе!

Но вѣчный позоръ! Но вѣчное проклятіе режиму, вырвавшему изъ нашихъ рукъ и сдѣлавшему безцѣннымъ слово и мирную работу и заставившему взять кинжалъ и револьверъ! Но вѣчный позоръ и вѣчное проклятіе имъ, — жестокимъ, безжалостнымъ, десятилѣтіями превращавшимъ агнцевъ въ тигровъ, и толкавшимъ на путь насилій и убійствъ тосковавшихъ и жаждавшихъ мирной созидательной работы!

Проклятіе и позоръ: тутъ забвеніе преступно! И пусть въ сознаніи потомковъ и на страницахъ исторіи горитъ, какъ печать Каина, клеймо по-

зора и проклятія на преступномъ челѣ преступнаго режима! И пусть никогда не меркнетъ эта надпись: «вотъ чудовище, дѣлавшее убійцами лучшихъ дѣтей страны!»....

Глава VI.

Прошло около часу, пока явились жандармы, чтобы переводить въ новую тюрьму. За этотъ часъ было пережито столько, сколько въ нормальное время въ годъ не переживешь. Въ одиночествѣ такое состояніе, кажется, совершенно немыслимо перенести безнаказанно. Разнообразнѣйшихъ и сильнѣйшихъ впечатлѣній такъ много, что вы должны — во что бы то ни стало — съ кѣмъ нибудь дѣлиться ими.

Къ счастью это совпало съ моментомъ, когда самое радостное было еще впереди: свиданіе со стариками. В. Н. Фигнеръ, къ которой мы, новое поколѣніе, относились съ благоговѣйной любовью, М. Ю. Ашенбренеръ и В. Иванова, по словамъ коменданта, уже съ прошлаго года нѣтъ. Остальные еще здѣсь, чему въ первую минуту, каюсь, несказанно обрадовался.*)

*) Я думалъ, что къ нимъ примѣнили манифестъ 1904 г. и всѣ уже выпущены на поселеніе.

Было три часа дня. На дворѣ стояла теплая осень — «бабье лѣто».

— Глаза завязывать будете? — ядовито спрашиваешь у офицера.

— Какъ такъ?

— Да сюда-то съ завязанными глазами волокли!

— Ну, то другое дѣло было, смущенно отговаривается онъ.

Приходится проходить мимо камеры Е. С. Сазонова. Нарочно, какъ будто споткнувшись, останавливаешься на нѣсколько секундъ. Говоришь громко, чтобы въ камерѣ слышно было.

— Теперь то, послѣ конституціи, не грѣшно и этихъ двухъ перевести къ намъ въ новую тюрьму! Тамъ бы всѣ вмѣстѣ и ждали лучшихъ дней....

Выходимъ на большой дворъ старой тюрьмы, съ непривычки кажущійся необычайно громадныхъ размѣровъ. Дворъ окруженъ со всѣхъ сторонъ высокими стѣнами цитадели. Отсюда «сарай» имѣетъ видъ невѣроятно жалкій, пришибленный, — точно вдавленный въ землю. Минуемъ ворота, вдѣланныя въ неимовѣрной ширины стѣнѣ. На слѣдующемъ дворѣ «новая» тюрьма. Длинное двухъ-этажное съ желѣзными рѣшетками зданіе. По срединѣ подъѣздъ. Входимъ во внутрь тюрь-

мы. Постройка крайне оригинальная. Этажи раздѣлены не потолкомъ, а плетеной веревочной сѣткой, напоминающей гамакъ. По обѣимъ сторонамъ стѣнъ расположены камеры. Въ уровень пола второго этажа тянется узенькая, аршина въ полтора, галлерея. Съ каждаго пункта, такимъ образомъ, вся внутренность, какъ на ладони. Камеры всѣ заперты. Тихо. Съ непривычки тебѣ все кажется, что свалишься съ галлереи на сѣтку.

— Пожалуйте, вотъ сюда!

Камера небольшая — шаговъ пять въ длину и четыре въ ширину, но довольно свѣтлая и чистая. Желѣзная койка, рѣшетки, все какъ обыкновенно. Но сразу поражаетъ давно уже не видѣнное: въ одномъ углу — деревянная этажерка, въ другомъ — дивной рѣзной работы стулъ.

— Теперь заключенные чай пьютъ; черезъ часъ начнется прогулка. Хотите, можетъ быть, повидать старосту? — спрашиваетъ офицеръ.

— А кто у васъ староста?

— Да изъ вашихъ же — Карповичъ.*)

— Карповичъ?.... Пожалуйста, очень радъ буду!...

*) Для хозяйственныхъ дѣлъ тюрьма выбирала своего старосту. Выборы производились каждые полгода. Въ это полугодіе былъ П. В Карповичъ.

— Ну, подождите, я пойду предупредить.

— Неужели поведутъ къ Карповичу? — думаешь съ недоумѣніемъ, какъ то все не вѣря, что безконечное одиночество уже кончилось.

— Пойдемте... вотъ тутъ... осторожно, не споткнитесь.

Предупреждегіе не лишнее, такъ какъ отъ волненія ноги дрожатъ и не держатъ. Жандармъ распахиваетъ желѣзную дверь и предо мной съ громадной черной бородой Карповичъ...

. . . .

Съ полчаса мы были, какъ безумные, т. е., не мы, а я. Рѣчь перескакивала безъ всякой связи, безъ послѣдовательности. Всякій торопился скорѣе передать свое. На меня какъ дождемъ посыпалось: флотъ разбитъ.... вдребезги.... ни одного суденышка не осталось. — Побѣды, неужели ни одной побѣды наши не одержали? — Какой тамъ чертъ, побѣды! Биты-биты, бить надоѣло японцамъ ... Мукденъ, Ляоянъ, Цусима .... Офицерство — полное ничтожество... Воровство, развратъ...

— А въ странѣ?

— Въ странѣ? Кавардакъ. Все къ черту летитъ. Черноморскій флотъ взбунтовался, утопилъ офицеревъ и явился обстрѣливать Одессу.

— Армія? Полная деморализація! Солдаты презираютъ офицеровъ, офицеры не довѣряютъ солдатамъ....

— Революція? Одна казнь здѣсь была... Комендантъ говоритъ не было? Вретъ! Въ маѣ была. Мы знаемъ. Кажется, въ связи съ покушеніемъ на Сергѣя, точно разузнать не удалось. Дума? Мошенство, больше ничего. Выѣденнаго яйца не стоитъ. У насъ есть манифестъ, можно будетъ получить. Но, кажется, требуютъ больше, и правительство вынуждено уступить.

— Сколько насъ здѣсь осталось? Восемъ человѣкъ. Да постой, надо простучать. Летитъ телеграмма (стукомъ въ дверь — для всей тюрьмы): «Г. переведенъ. Бодръ. Обнимаетъ. Будетъ на прогулкѣ». Черезъ нѣсколько секундъ отвѣтъ: «Поздравляемъ. Добро пожаловать. Сейчасъ увидимся».

— Кого можно будетъ сегодня увидѣть? Я хотѣлъ бы Г. А. Лопатина: у меня есть для него поклонъ отъ его сына.

— Да всѣхъ увидишь...

— Какъ всѣхъ? Вѣдь у васъ тутъ гуляютъ по два?

— Ну, нынче, какъ японцы вздули тамъ ихъ, и здѣсь стало лучше. Всѣхъ увидимъ.

Въ четыре часа отпираютъ на прогулку.

Прямо противъ входа въ тюрьму — одноэтажное зданіе кордегардіи. Тамъ всегда подъ ружьемъ караулъ изъ двадцати жандармовъ. Съ правой стороны крѣпостныя стѣны. Половина пространства между этими стѣнами и тюрьмой занято огородиками или — на тюремномъ нарѣчіи — клѣтками. Это разгороженные досками квадратики шаговъ въ двадцать длины и 10—15 ширины. Узенькая тропинка отведена для гулянья, остальное — надѣлъ для полеводства, садоводства, огородничества и пр. Съ одной стороны перегородки упираются въ крѣпостную стѣну, по которой ходитъ часовой, съ другой — въ заборъ, къ которому придѣлана галлерея. По этой галлереѣ ходитъ дежурный унтеръ-офицеръ. Клѣтки снаружи запираются. Каждая клѣтка отведена на двоихъ. Имѣется еще и большой огородъ, гдѣ въ послѣднее время отвоевали право гулять вчетверомъ.

Когда мы съ Карповичемъ приблизились къ клѣткамъ, къ намъ бросились навстрѣчу «старики». Въ безобразномъ арестантскомъ одѣяніи, кто въ сѣромъ, кто въ бѣломъ*), большинство сѣдые, какъ лунь, но съ яркими ясными глазами.

---

*) На лѣто тамъ выдается «дачная пара» куртка и штаны изъ холста.

Собственно это было большое нарушеніе тюремной дисциплины. Но приводъ «новаго» — это въ Шлиссельбургѣ такая рѣдкость; тамъ — на волѣ «послабло», жандармы, казалось, сами находились подъ радостнымъ настроеніемъ встрѣчи новичка со стариками, такъ что нѣсколько минутъ, безпорядочными перекидываясь отрывочными фразами, стояли всѣ вмѣстѣ «скопомъ». Рѣшено было собираться на прогулкахъ въ большомъ огородѣ вчетверомъ по очереди. Прогулки сегодня остались съ четырехъ до шести. За эти два часа со всѣми перезнакомился.

Они, оказывается, въ самыхъ общихъ чертахъ знали уже о послѣднихъ событіяхъ. Совершенно случайно, благодаря разнымъ обстоятельствамъ, въ тюрьму проникали (съ вѣдома администраціи) извѣстія о неудачной войнѣ, о какомъ то неопредѣленномъ движеніи въ странѣ, о Думѣ 6-го августа и еще нѣсколько отрывочныхъ данныхъ.

О всемъ періодѣ съ 1901 г., т. е., съ момента появленія П. В. Карповича, — о постепенномъ ростѣ движенія, объ участіи крестьянства, о террористической борьбѣ, о партійныхъ группировкахъ, о самой П. С.-Р., — не имѣли почти никакого представленія. Въ теченіе долгаго времени цѣлые дни проводили въ большомъ огородѣ, передавая другъ другу новости: они — о томъ, что

дѣлалось здѣсь, я — о томъ, что дѣлалось тамъ — въ далекомъ, далекомъ для нихъ мірѣ.

Изъ стариковъ къ этому времени осталось восемь человѣкъ: Л. П. Антоновъ, С. А. Ивановъ, Г. А. Лопатинъ, I. Д. Лукашевичъ, Н. А. Морозовъ, М. В. Новорусскій, М. Р. Поповъ и М. Ф. Фроленко.

Не буду говорить о томъ совершенно исключительномъ настроеніи, въ которомъ находился со времени перевода въ новую тюрьму и свиданія съ «стариками». Послѣ безпросвѣтнаго мрака и одиночества въ теченіи 2 $^1/_2$ лѣтъ — все представлялось какимъ то волшебнымъ сномъ. Тамъ — на волѣ — крушеніе стараго строя. Какъ далеко это крушеніе пошло — неизвѣстно; но оно началось, а, начавшись, остановиться не можетъ. Теперь мы уже не побѣжденные, — теперь мы побѣдители, до заключенія перемирія находящіеся въ плѣну.

Съ непривычки все поражало въ новой обстановкѣ. Режимъ къ тому времени ослабъ. «Петербургу» было не до того, мѣстная администрація, очевидно, тоже со дня на день ждала «большихъ перемѣнъ», и жизнь заключенныхъ не отравлялась придирчивыми мелочами, обыкновенно создающими адъ въ тюрьмѣ. Это «ослабленіе» режима въ Шлиссельбургѣ было тѣмъ цѣннѣе, что вообще тамъ режимъ служилъ точнымъ политическимъ

барометромъ положенія на волѣ. Малѣйшія измѣненія «тамъ» сейчасъ же давали себя чувствовать здѣсь.

За двадцать лѣтъ заключенные, конечно, накопили массу всевозможныхъ вещей. Въ мастерскихъ работали годами. Дѣлали шкафы, стулья, этажерки, вѣшалки, сундуки, всевозможныя коллекціи, гербаріи, набивали чучела и пр. и пр. Все это скоплялось въ камерахъ и послѣднія принимали болѣе жилой видъ. Послѣ «образцовой» тюремной обстановки въ Петропавловской и «сарая», гдѣ ничего, кромѣ стѣнъ и рѣшетокъ — не было, эти камеры производили впечатлѣніе кабинетовъ ученыхъ.

Глава VII.

Есть еврейская сказка: «Сказка о козѣ». Жилъ въ одномъ городѣ бѣднякъ Шолемъ. Совсѣмъ не было у него денегъ, но зато была большая семья и очень маленькая хата. Былъ онъ тряпичникомъ, а жена держала козу. Дѣтей неисчислимое множество. Такъ много, что въ маленькой хатѣ даже помѣстить нельзя было всѣхъ и часть ночевала у добрыхъ сосѣдей. Мѣшки съ тряпьемъ разбирались на дворѣ; тамъ же подъ навѣсомъ стояла и коза. Скверная была жизнь, не въ могоготу отъ тѣсноты и грязи.

Слышалъ Шолемъ отъ добрыхъ людей, что на слободкѣ живетъ великій ученый, святой мужъ великаго ума. Такого великаго ума, что всѣхъ несчастныхъ наставляетъ, какъ быть счастливыми. Порѣшилъ Шолемъ пойти къ святому мудрецу просить у него совѣта, какъ поступить, чтобы жить можно было. Разсказалъ Шолемъ про всю свою жизнь, какъ ѣсть нечего, какъ помѣститься негдѣ, какъ отъ духоты болѣютъ дѣти, какъ со двора идетъ въ хату смрадъ отъ разбираемаго мусора, какъ коза мало молока стала давать, такъ какъ спитъ на голой землѣ и пр. и пр. Все разсказалъ, а мудрый раввинъ выслушалъ.

— Ну, что скажете, равви? Есть у Бога для меня милость?

— Будетъ хорошо. Иди домой. Собери всѣхъ дѣтей и впредь, чтобы не ночевали у сосѣдей.

— Равви! И такъ дѣться некуда! — робко возражаетъ Шолемъ.

— Будетъ хорошо! Дѣлай, какъ говорятъ.

Привелъ на ночь Шолемъ дѣтей. Дѣти плачутъ, въ хатѣ стонъ стоитъ. Никто не спалъ.

Идетъ Шолемъ къ равви.

— Ну, какъ?

— Да будетъ благословенъ Богъ и святое имя его, но плохо, равви! Еще хуже стало!

— Внесите мѣшки съ тряпьемъ въ хату и тамъ разбирайте.

— Въ хатѣ разбирать тряпки?!...

— Будетъ хорошо; дѣлай, какъ говорятъ.

Сталъ Шолемъ въ хатѣ разбирать тряпки, кости, мусоръ. Пошелъ смрадъ и вонь — дышать нельзя. Старшій мальчикъ съ досады и злости разбилъ стекло, чтобы хоть нѣсколько свѣжій воздухъ проникалъ. Что дѣлать? Надо идти къ равви.

— Ну, какъ Шолемъ?

— Сто лѣтъ вамъ жить, равви, — плохо!

— Вставь стекло. Не держи козу на дворѣ, введи ее въ хату, — тамъ пусть будетъ съ вами день и ночь.

— Козу въ хату?!... День и ночь?!...

— Будетъ хорошо! Дѣлай, какъ тебѣ говорятъ.

Уныло и понуро идетъ Шолемъ домой. «Что мы — темные люди — можемъ знать? Должно быть, такъ лучше! Великій мудрецъ, — онъ вѣдь все знаетъ».. — покорно думаетъ Шолемъ.

Ввелъ въ хату козу. Не жизнь — адъ начался. Дѣти расхворались, цѣлые дни ревмя ревутъ. Лежатъ въ повалку. Жена голоситъ: «лучше пусть Богъ возьметъ къ себѣ! Нѣтъ ужъ силъ!» — Коза наполняетъ всю хату. Куда не

повернешься — всюду она. Въ довершеніе всего коза перестала давать молоко....

Шолемъ былъ человѣкъ совѣстливый. Какъ великому мудрецу досаждать своими невзгодами?! Терпѣлъ, терпѣлъ, но не выдержалъ — постучался къ равви.

— Ну, какъ?

— Да будетъ благословенна мудрость ваша, равви! Не знаю уже, на какомъ мы свѣтѣ! Да не прогнѣвается на насъ Богъ — совсѣмъ жить стало нельзя. Сжальтесь, равви!

— Поговори съ добрыми сосѣдями; попроси, чтобы разобрали дѣтей на ночь, а потомъ приходи ко мнѣ.

«Размѣстить дѣтей по сосѣдямъ? Это хорошо! — весело думаетъ Шолемъ: — это очень хорошо!...»

Размѣстили дѣтей. Въ хатѣ стало свободнѣй. «Видно не напрасно люди считаютъ равви мудрымъ» — говоритъ Шолемъ — «надо пойти поблагодарить».

— Ну, какъ Шолемъ? — привѣтливо спрашиваетъ равви.

— Теперь хорошо! Много лучше! — весело говоритъ Шолемъ.

— Вотъ видишь! А ты роптал на Бога. Те-

перь вынеси тряпки на дворъ и тамъ разбирай! — Потомъ приходи опять.

«На дворѣ разбирать тряпки! Какой мудрецъ! Прямо золотая голова. Это у насъ настоящій рай теперь будетъ! Вотъ старуха то обрадуется!...» Мчится Шолемъ домой — откуда только силы и бодрость взялись!

Сидятъ вечеромъ послѣ работы Шолемъ съ женой и любуются, и благодарятъ Бога за милость и доброту: «вонъ какъ хорошо стало! Ни пыли, ни мусору, ни міазмовъ отъ тряпокъ! Коза вотъ только какъ будто въ хатѣ себя плохо чувствуетъ, да и безпокойно отъ нея», робко думаютъ «счастливцы», стыдясь своей «неблагодарности» и «жадности». Надо идти благодарить раввиа.

— Ну, какъ, Шолемъ?

— Ахъ, равви, такъ хорошо, такъ хорошо, теперь ужъ и не знаемъ, какъ благодарить! Вотъ только....

— Коза, Шолемъ? Ты хочешь сказать на счетъ козы? Выведи ее на дворъ и поставь на старое мѣсто.

У Шолема взыгралось сердце. «Какой мудрецъ! Какой мудрецъ! Вывести козу! Да вѣдь это рай намъ будетъ теперь! Старуха то! Старуха какъ обрадуется!....»

Поставили козу на старое мѣсто. Стоятъ Шо-

лемъ и старуха другъ противъ друга. На душѣ жаворонки поютъ. «Не сглазилъ бы кто», — со страхомъ шепчутъ они, думая о своемъ счастьи. «Вотъ жизнь то когда настоящая настанетъ! Праздникъ и ликованіе!...»

«Велика къ намъ милость Бога», — думаютъ старики.

Глава VIII.

Такова еврейская сказка. Такова жизнь. Такова жизнь въ Шлиссельбургѣ.

Отнято было все. Лишенъ былъ всего. Когда попалъ въ новую тюрьму, гдѣ кое-что было возвращено, гдѣ нелѣпыя лишенія были уничтожены, — все казалось раемъ.

«Коза выведена» — и я понялъ счастье Шолема, понялъ, почему у него на душѣ пѣли жаворонки.

Я уже отмѣчалъ, какъ мелочи, ничтожныя, незамѣтныя «на волѣ», могутъ служить источникомъ большихъ радостей и большихъ печалей въ тюрьмѣ, гдѣ чудовищно безсмысленный режимъ лишаетъ заключенныхъ всѣхъ пріобрѣтеній культуры. Возьмемъ, казалось бы, такіе пустяки. Пища въ послѣднее время была въ Шлиссельбургѣ сносная, но въ «сараѣ» ее подавали въ

грязныхъ вонючихъ судкахъ. Ножа и вилки нѣтъ. Мясо — вареное и жареное — приходится терзать руками. И каждый разъ, когда подаютъ ѣду, какъ о величайшемъ, но недоступномъ счастьи, мечтаешь о ножѣ и вилкѣ. И вдругъ въ новой тюрьмѣ вы узнаете: добились разрѣшенія на день имѣть столовый ножъ (съ обязательствомъ сдавать на ночь)! Что сравнится съ тѣмъ блаженствомъ, которое испытываете вы, когда кладете мясо на тарелку — на настоящую тарелку — и не разрываете уже руками, а разрѣзываете ножемъ — настоящимъ ножемъ! И для чаю вы уже имѣете стаканъ! И размѣшивать чай вы уже можете не сорванной съ дерева вѣткой, а ложечкой, — и многое, многое — всего не перечтешь, вплоть до права на ночь гасить огонь!...

Конечно, ужасъ положенія и виденъ изъ того, что эти мелочи могутъ играть такую большую роль, но на первыхъ порахъ возвращеніе этихъ «правъ» доставляетъ много радостей.

Отношенія въ тюрьмахъ, вообще, особенныя. Не такія, какъ на волѣ. Съ одной стороны насильственное соединеніе людей въ однихъ стѣнахъ создаетъ острую почву для всевозможныхъ треній. Тюрьма, неволя обычно выдвигаютъ наружу всѣ отрицательныя черты человѣческаго характера и обильно питаютъ ихъ. Лучшія сто-

роны обыкновенно не находятъ себѣ примѣненія и тлѣютъ, покрытыя пепломъ неволи. Какъ общее правило, можно сказать, что въ тюрьмѣ тѣ же люди хуже, чѣмъ на волѣ. Но зато, съ другой стороны, тюрьма знаетъ и такія теплыя, полныя любви и сердечности отношенія, такія мягкія, участливыя, какихъ не встрѣтить въ обычной обстановкѣ.

Въ условіяхъ Шлиссельбурга, конечно, эти отношенія принимаютъ особенный колоритъ. Появленіе новаго человѣка такъ рѣдко. Душа такъ изголодалась и исхолодалась, съ одной стороны, — съ другой, у вновь прибывшаго столько чистаго почтительно-благоговѣйнаго чувства къ «старикамъ», что создается теплая атмосфера взаимной симпатіи и сильной привязанности. Вновь прибывающій чувствуетъ себя гостемъ у радушныхъ и любящихъ родныхъ.

«Хозяева» наперерывъ стараются окружить его «всѣмъ, что лучшаго въ жизни рокъ имъ далъ». Кто тащитъ шкафъ, кто письменныя принадлежности, кто вѣшалку, кто ножичекъ, кто книги, кто вареніе собственнаго изготовленія, кто цвѣты, кто свѣжую рѣпу, кто сахарный горошекъ, кто зашиваетъ бушлатъ, кто тачаетъ вмѣсто «котовъ» самодѣльныя туфли....

И эти выраженія братскаго нѣжнаго вниманія,

эта участливость и чуткость озаряютъ на первыхъ порахъ тюремную жизнь такимъ мягкимъ свѣтомъ, что все прежнее мрачное, безобразно тяжелое какъ то расплывается и временно отходитъ. Чувство какой то неловкости, виновности охватываетъ васъ, когда смотрите на этихъ старцевъ. Подумать только: нѣкоторые изъ нихъ по двадцать пять лѣтъ (М. Р. Поповъ, М. Ф. Фроленко и Н. А. Морозовъ) замурованы въ застѣнкахъ и только двое (І. Д. Лукашевичъ и М. В. Новорусскій) по 18 лѣтъ. Остальные по 21—22 года.

Свыше 20 лѣтъ! Вся жизнь, проведенная въ безнадежномъ одиночествѣ, въ отсутствіи какихъ либо вѣстей съ воли! И «воля» все время казалась такой мертвой, такой безнадежно мертвой.... Какъ поддерживать въ себѣ безпрерывно вѣру въ торжество идеи и какъ жить безъ вѣры въ это торжество?! И такъ двадцать съ лишнимъ лѣтъ!...

И эта борьба со злобнымъ врагомъ, упорная, безпрерывная, какъ ржавчина разъѣдающая душу и подтачивающая тѣло! Все, чѣмъ теперь владѣютъ: вотъ этотъ стулъ, эта тарелка, эта книга, какой это куплено страшной цѣной! За все это заплачено такой массой мукъ и крови! И это все тебѣ достается такъ просто, какъ даръ друзей.

Только вошелъ въ Шлиссельбургъ и ужъ тебя встрѣчаетъ вѣсть, что чудовище ранено, вотъ, вотъ истечетъ кровью.

Тѣхъ, мрачныхъ, какъ ночь безпросвѣтныхъ годовъ сомнѣній въ торжество дѣла, — что бы ни было впереди, — намъ уже не переживать....

Глава IX.

Такъ шли дни. Мы переживали «медовый мѣсяцъ». Слова и думы все чаще и чаще, все настойчивѣе и упорнѣе возвращались къ «тому» — къ волѣ.

Что же, въ концѣ концовъ, тамъ происходитъ? Толкомъ ничего не знали. Офицеры отдѣлывались общими фразами, отъ унтеровъ ничего выжать не удавалось. Знали, что убійство Плеве встрѣчено было со всеобщимъ ликованіемъ. Знали, что за убійствомъ послѣдовалъ необычайный общественный подъемъ, закончившійся декабрьской «весной». Знали, что сейчасъ же за этой «весной» опять наступилъ какой то поворотъ въ сторону реакціи, что послѣдовали какія то волненія, затѣмъ какіе то «великіе акты» 18 февраля.

Но какія волненія, что за акты и въ какой связи они стоятъ съ волненіями — оставалось загадкою.

Самое важное для насъ было знать — результатомъ чего собственно является Дума 6-го Августа? Общаго, неопредѣленнаго недовольства страны, сознанной необходимости «реформъ», или же напора активно вмѣщавшагося трудящагося класса? Въ первомъ случаѣ «реформы» на этомъ, думали мы, и должны застрять, во второмъ — это только начало. А если начало, то концомъ должно быть и паденіе Шлиссельбурга.

Но тутъ же прокрадывались мрачныя сомѣнія. 6-го Августа данъ былъ указъ о Думѣ. А въ Іюлѣ, т. е., нѣсколькими недѣлями раньше въ Шлиссельбургѣ, рядомъ съ тюрьмой начали строить церковъ для заключенныхъ!

Двадцать два года тюрьма простояла безъ церкви. Если за нѣсколько недѣль до указа о Думѣ царь задумалъ строить церковъ для спасенія души тяжкихъ грѣшниковъ (цѣна 40000 этому спасенію), то очевидно, что въ Іюлѣ то «они» еще и не думали считать «государеву» тюрьму, а стало быть и «государево дѣло» сыгравшими свою роль.

Но какъ бы то ни было, люди, лежавшіе въ гробу, отчаявшіеся когда либо выйти изъ него, услышали стукъ. Какъ будто чьи то сильныя руки стараются сорвать крышку гроба. Крышка крѣпко прибита. Осторожный, привыкшій къ разо-

чарованіямъ умъ говоритъ: нѣтъ, не сорвать! лежи смирно, брось надежды! Спи, сердце!...

Но сердце, разбуженное сильнымъ ударомъ, не успокоится, не заснетъ опять.

Мечта всей жизни — день свободы въ свободной Россіи, — минутами кажется, — готова осуществиться.

Но страшно довѣриться, страшно питать себя надеждами! Только ночи довѣряешь ихъ. Темное небо и яркія звѣзды — нѣмыя свидѣтельницы безконечныхъ страданій въ теченіе десятковъ лѣтъ, теперь холодно, безстрастно наблюдаютъ черезъ желѣзныя рѣшетки, какъ на тѣхъ же койкахъ, тѣ же люди, только ужъ блѣдные и бѣлые, какъ лунь, проводили безсонныя ночи, преслѣдуемые неотвязными думами о жизни и волѣ.

А днемъ — на прогулкахъ, — нѣтъ, нѣтъ — разговоръ все сведется на тему о томъ, «что будетъ, если это будетъ?» Одни доказывали, что прекраснѣйшимъ образомъ въ Петербургѣ можетъ засѣдать Дума, а въ Шлиссельбургѣ — «государственные преступники»; другіе доказывали, что если даже и не будетъ дальнѣйшихъ побѣдъ, все же ко времени созыва Думы, т. е. 6-го января, по крайней мѣрѣ старики должны быть освобождены.

Всѣ старанья войти снова въ колею, заняться чтеніемъ — благо теперь разрѣшили на оставшіяся

собственныя деньги выписывать книги, — ни къ чему не приводили: жизнь дразнила, жизнь манила.

Числа 20 Октября мы замѣтили среди жандармовъ какое то волненіе. Сходились группами, перешептывались, замолкая при нашемъ появленіи. Мы насторожились. Но узнать ничего не удалось. Въ воскресенье, кажется это было 23-го, во время обѣда, «телеграмма» — староста стучитъ*): »важныя сообщенія — Витте назначенъ премьеромъ; составъ министерства либеральный; обѣщаны большія реформы. Собраться въ большомъ огородѣ.»

Кто то стукомъ отвѣчаетъ: «Витте жуликъ — надуетъ.»

Съ другой стороны вносятъ поправку: «хоть и жуликъ, все таки не жандармъ. Предлагаю вотировать довѣріе министерству умнаго жулика.»

Какъ только отперли двери «на прогулку», всѣ бросились въ большой огородъ. По инструкціи тамъ собираться можно только вчетверомъ. Но въ этотъ разъ, «въ виду перемѣны министерства» двоимъ удалось проскочить зайцами. Жандармы настроены благодушно.

---

*) Въ Шлиссельбургѣ принято стучать не въ стѣну, какъ обыкновенно въ тюрьмахъ, а чѣмъ нибудь въ дверь — тогда слышно всѣмъ.

— «Идите скорѣй, парламантъ уже открытъ, только васъ не достаетъ», — острить дежурный.

Сзади меня, въ двухъ шагахъ, идетъ унтеръ. При спускѣ съ крыльца мнѣ бросился въ глаза его нѣсколько встревоженный видъ. Казалось, онъ что то хотѣлъ сообщить. Я замедлилъ шаги.

— Ну, 35-ый*), можете радоваться. Такъ все по вашему и вышло! — шепчетъ унтеръ сзади.

— Что вышло? — спрашиваю я, не понимая въ чемъ дѣло.

— Да насчетъ стѣнъ то Іерихонскихъ, помните? Какъ говорили, такъ слово въ слово вышло**). Не оглядывайтесь. Черезъ $^1/_4$ часа идите въ первый огородъ, тамъ удобнѣе будетъ.

*) Въ Шлиссельбургѣ заключенныхъ называютъ не по именамъ, а по номерамъ.

**) Въ Мартѣ, на дворикѣ старой тюрьмы, когда снѣгъ началъ таять, жандармы, баловства ради, изъ снѣга сбили стѣну,

— Зря, братцы, эта ваша работа, какъ и все, что ваше начальство теперь дѣлаетъ.

— Что жъ такъ?

— Солнце правды взойдетъ — ваша снѣговая стѣна растаетъ, — а вотъ эта каменная рухнетъ.

— Какъ рухнетъ?

— А знаете, какъ Іерихонскія стѣны — только раздастся гласъ: правда въ міръ пришла — такъ и рухнетъ, вотъ увидите.

— И скоро?

— Скоро, слѣдующей нашивки не успѣете заслужить.

Иду въ «парламантъ». Тамъ необычайная сенсація. Оказывается, во время обѣда къ старостѣ явился смотритель (помощникъ коменданта) якобы по какому-то хозяйственному дѣлу, очевидно, чтобы «поговорить». Необыкновенно милъ и очарователенъ, что не всегда съ нимъ бываетъ. (Это тоже барометръ.) Заговорилъ о теченіяхъ въ Петербургѣ. Новый «кабинетъ». Премьеръ Витте. Либеральные министры. Дума измѣнена — не законосовѣщательная, а законодательная. Избирательное право расширено. «Вообще, настоящій парламентскій строй.»

— «А свобода печати какъ?» спрашиваютъ его.

— «Пишутъ обо всемъ, что хотятъ. Да последнее время совсѣмъ газетъ не было.»

— «Какъ не было? Почему?»

— «Забастовка. Всѣ типографіи бастовали, долгое время безъ газетъ были.»

Даже «Валаамова ослица» (такъ прозвали крѣпостного врача за его «политическую молчаливость») заговорила что то на тему, что, молъ, хорошо все вышло, — наконецъ въ Россіи будетъ конституція. Тутъ же, между прочимъ, смотритель и врачъ просили приготовить имъ, только какъ можно скорѣе, такъ какъ очень де нужно, щипцы для сахара и еще что то въ этомъ родѣ.

Вотъ эти то чрезвычайныя событія и обсуждались въ нашемъ парламентѣ.

Раньше всего учитывалось не то, что говорили чины, а какъ говорили. Въ обращеніи, въ освѣщеніи фактовъ, въ самой интонаціи чувствовалось что то новое. Это первое. Второе — никогда до сихъ поръ смотритель, а особенно докторъ, не сообщали никакихъ существенныхъ новостей, а тутъ вдругъ о перемѣнѣ курса объявили. Ясно, что что-то такое произошло.

Начали сопоставлять числа — такъ и есть: 17 и 21-го табельные дни. Очевидно, къ этому сроку былъ пріуроченъ какой-нибудь манифестъ. Но что обозначаетъ забастовка типографій? Ясно: была какая то большая стачка. Въ большомъ огородѣ страстно обсуждается положеніе дѣлъ, высказываются всевозможныя предположенія, а на верху на вышкѣ ходятъ дежурные жандармы и добродушно ухмыляются.

Сообщаю товарищамъ, что скоро, быть можетъ, что нибудь узнаемъ, такъ какъ жандармъ назначилъ свиданіе. Отправляюсь въ условленный огородъ. Иду медленно, опираясь на палку. За мной «онъ».

— Вотъ 35-ый, дожили таки! Іерихонскія стѣны то рухнули!

— Говорите толкомъ, что такое произошло?

— Да что произошло! Очень просто, вся страна отказалась служить правительству.

— Какъ вся страна? Кто же именно?

— Извѣстно кто: рабочіе — тѣ уже завсегда первые въ битву, земство, крестьяне, желѣзныя дороги, чиновники, словомъ сказать, всѣ!

— Чего же они требовали?

— Да не хотимъ, говорятъ, служить старому правительству, бюрократіи, значитъ, а требуемъ, чтобы новое было, вродѣ какъ отъ народа.

— Какъ? и желѣзныя дороги, и земство? Вы это навѣрное знаете?

— Чего не знать? Говорю — вся страна! Не желаемъ, говоритъ, служить старому правительству.

— Что жъ, вышелъ указъ какой?

— Большой указъ, 35-ый! Большія свободы объявлены. И амниссія всѣмъ.

— Какъ амниссія, что такое?

— Да ослободятъ, значитъ, всѣхъ, въ тюрьмахъ которые. Всѣхъ соціанъ-демокрантовъ приказано освободить.

— Т. е. какъ соціанъ-демокрантовъ?*) Кого вы называете соціанъ-демокрантами?

---

*) Очевидно, въ канцеляріи, разбирая «амнистію», начальство толковало, что с.-д. подлежатъ всѣ освобожденію. Унтера приняли это на нашъ счетъ.

— Политическіе, значитъ, которые! Васъ, примѣрно, всѣхъ, ну и прочихъ по Россіи которые.

— Да вы откуда это знаете? Можетъ такъ болтаютъ только зря?

— Чего зря! Сегодня дежурилъ въ канцеляріи, при мнѣ начальство разговоръ имѣло: всѣхъ, говорятъ, соціанъ-демокрантовъ освободятъ. А намъ что! Мы сами рады.

— Что же, такъ вотъ просто совсѣмъ и освободятъ? Прямо изъ крѣпости на волю?

— Да какъ же иначе? Я ужъ и не знаю! Сказано ослободить, значитъ, они ослободить и должны.... Тсс... Идите 35-ый, часовой смотритъ! Вотъ тоже псы цѣпные, своего же брата загрызутъ!

Мчусь въ парламентъ. Въ сердцѣ и головѣ такъ все и заходило: «отказались служить правительству... Большія свободы... Амнистія... Сопоставляешь съ заявленіями смотрителя, — ясно, что то произошло.

Въ парламентѣ, оказывается, уже получены изъ другого источника, тоже отъ унтера, кое-какія свѣдѣнія, дополнительныя къ моимъ. Кто то робко говоритъ: «да вѣдь это, господа, на всеобщую стачку похоже.»

— Ну, ужъ и выдумали! Это у насъ то все-

общая стачка, да еще съ земствами, съ банками!... Тутъ что-то не то!

— Чего не то? Что имъ за разсчетъ выдумывать? Смотрите, они сами всѣ сегодня какіе то приподнятые, особенно молодые! Ясное дѣло, была грандіозная стачка, подъ давленіемъ ея правительство бьетъ отбой!

Обсуждали, обсуждали, однако рѣшили, что надо постараться еще собрать свѣдѣнія.

Разошлись по клѣткамъ. Я пошелъ въ клѣтку М. Ф. Фроленко. Она помѣщалась въ концѣ, тамъ удобно было говорить съ жандармами. Дежурный на галлереѣ, очевидно, очень встревоженъ. Оглядывается по сторонамъ, нервно ходитъ около нашихъ клѣтокъ.

Нѣсколько разъ останавливается и восторженно смотритъ на насъ.

— Вы что сегодня, точно имениникъ, сіяете? спрашиваемъ, улучивъ моментъ, когда дежурный на стѣнѣ пошелъ въ другую сторону.

— Вѣсти ужъ больно веселыя...

— Въ самомъ дѣлѣ? А для кого веселыя, для насъ, или для васъ?

— Да я такъ полагаю, что ежели для васъ веселыя, то и для насъ тоже.

— Ужъ будто бы?

— А какъ же по вашему? Вѣдь, чай, у меня

родные то есть? А кабы у меня что въ деревнѣ было, нешто я бы за двадцать то пять рублей на этой собачьей службѣ былъ? Нужда заставляетъ!

— Такъ вѣсти то какія?....

— Да вѣдь вы знаете, намъ говорить запрещено, какимъ то невѣроятно грустнымъ голосомъ, даже съ дрожью, отговаривается жандармъ.

— Говорить запрещено? Вотъ видите, сами говорите «собачья служба», т. е. дѣлу то собачьему служите, наше дѣло считаете своимъ, а начальство приказываетъ вамъ молчать, вы и молчите?

Жандармъ все больше и больше волнуется, указываетъ на часового и уходитъ.

Черезъ нѣкоторое время снова подходитъ.

— Вотъ, вѣрьте совѣсти, ужъ такъ бы хотѣлось вамъ все разсказать, да право же нельзя — съ насъ строго взыскиваютъ. Спросите у начальника — онъ скажетъ.

— Пойдите вы къ чорту съ вашимъ начальникомъ. Мы съ народомъ, а не съ начальствомъ. Мы за народъ жизнь отдаемъ — такъ намъ не жалко, а вы боитесь намъ хорошее слово сказать.

— Да что сказать? Толкомъ то я объяснить не сумѣю. Прямо сказать рушится все.

— Что рушится?

— Да бюрократья проклятая.

— И уступаетъ?

— Уступишь, когда за горло такъ схватили, что дохнуть не даютъ!

— Стало быть, здорово дуютъ каналью?

— Ого, ажъ пыль идетъ! Въ хвостъ и въ гриву, съ злорадствомъ говоритъ жандармъ.

— А вы и рады?

— А намъ что, скорѣе бы съ дьяволомъ, съ бюрократіей покончили, намъ бы тоже лучше стало.

— А, дѣйствительно, думаютъ освободить насъ?

— Говорятъ, былъ въ канцеляріи разговоръ, будто манифестъ какой то есть. А только что толкомъ я не знаю. Гуляйте, смотритель идетъ! — тревожно прошепталъ онъ и пошелъ въ свой обходъ.

Принесенныя нами извѣстія въ «парламентѣ» произвели сенсацію. По всему видно было, что произошло нѣчто рѣшительное. Унтера, по своей наивности, не знаютъ въ чемъ дѣло, начальство не говоритъ. Дѣлаемъ всевозможныя предположенія. Въ это время «молва» приноситъ новое извѣстіе. Оказывается, смотритель бродилъ по галлереѣ съ очевиднымъ желаніемъ заговорить. Остановился около клѣтки М. Р. Попова. Конечно, снова затронули «новости». Подтвердилось ста-

рое, кое что разузнали новое. Зашелъ разговоръ о Шлиссельбургѣ.

— Вѣдь при конституціи Шлиссельбургъ не можетъ существовать?

— Да существовать то отчего не можетъ? Только въ другое вѣдомство перейдетъ, «успокаиваетъ» смотритель, спускаясь съ галлереи, дабы прекратить неудобный разговоръ. А на галлереѣ унтеръ съ усмѣшкой шепчетъ Попову по адресу смотрителя.

— Останется! Врутъ идолы, вы имъ не вѣрьте! Всѣхъ освободятъ васъ, вотъ увидите.

Въ «парламентѣ» спорятъ о томъ, можетъ ли при конституціи остаться Шлиссельбургъ или нѣтъ. Мнѣнія раздѣляются.

— А по мнѣ, такъ прекрасно можетъ, язвитъ кто то; пуговицы у унтеровъ перемѣнятъ, вмѣсто «орловъ» понашиваютъ «законъ» — вотъ тебѣ и всѣ результаты конституціи: будете подъ «закономъ» ходить!....

Однако какъ ни старались сдерживать себя, чтобы не было никакихъ «безсмысленныхъ мечтаній,» какъ ни старались казаться спокойными и «непридающими никакого значенія всей этой жандармской болтовнѣ,» какъ ни прерывали постоянно разговоръ — «ну, будетъ ужъ объ этомъ!

Надоѣло даже» — мысль все упорнѣе и упорнѣе возвращалась къ «жандармской болтовнѣ.»

Разбрелись по камерамъ и тамъ всякій про себя, не стыдясь насмѣшливыхъ взоровъ «пессимистовъ» надъ «оптимистами», всякій про себя: и оптимисты и пессимисты довѣряли свои думы одинокимъ кельямъ.

На другой день дежурными были «вѣрноподданные» — узнать ничего не удалось. Какъ бы по взаимному соглашенію — «безсмысленныя мечтанія» не затрогивались. И въ доказательство того, что ровно никакого значенія всей этой болтовнѣ не придаютъ, — нѣкоторые занялись раскапываніемъ парниковъ.

Но и это молчаніе, и эта яростная работа надъ парниками, и это небрежное посвистываніе, — все это было только «такъ» . . . . на самомъ же дѣлѣ, сердце било тревогу, а мысли бороздили умъ все о томъ же и о томъ же . . . .

Глава X.

Такъ прошло два дня. Въ среду 26-го намъ была выдана «свѣжая» книжка Русскаго Богатства. «Свѣжая» — это значитъ за ноябрь прошлаго года. Было ясное осеннее утро. Солнце грѣло. Мы съ М. Р. Поповымъ получили книжку на часъ. Пошли

въ клѣтку читать внутреннюю хронику Мякотина. «Свѣжія» новости были для насъ захватывающія. Во-первыхъ, этотъ новый боевой тонъ! Опредѣленная позиція открытой защиты «крамолы». Значитъ «тамъ» ослабло. Потомъ всѣ эти банкеты, петиціи, манифестаціи Октября-Ноября 1904 года — намъ казались такой «революціей», что мы едва дышали отъ восторга. Восторгъ намъ только нѣсколько умѣрился, когда дежурный на галлереѣ, долгое время прислушивавшійся къ чтенію, насмѣшливо махнулъ рукой, процѣдивъ. — «Ну, нашли тоже о чемъ читать! То ли еще теперь бываетъ!»

Въ самый разгаръ ламентаціи какого то земца, призывавшаго сплотиться вокругъ престола, раздается яростный стукъ въ дверь клѣтки и черезъ нѣсколько секундъ показывается встревоженная фигура Г. А. Лопатина.

— Идите скорѣе... комендантъ собираетъ... амнистія или какъ тамъ ее къ черту! Насъ увозятъ... Вамъ 15 лѣтъ.

Мы бросились на «сборъ» — «Сюда, сюда! На большой огородъ!»...

Въ большомъ огородѣ уже всѣ въ сборѣ. Комендантъ, всѣ офицеры, унтера. Стариковъ, оказывается, увозятъ, молодымъ срочнымъ сокращается на половину, безсрочнымъ на 15 лѣтъ.

— Неужели самодержавіе расчитываетъ прожить еще 15 лѣтъ?

— Почемъ знать? — загадочно огрызается комендантъ.

— Когда же повезутъ и куда?

— Распоряженіе департамента полиціи возможно скорѣе отправить васъ отсюда въ Петропавловскую крѣпость для слѣдованія въ Сибирь.

— Въ Сибирь?! Недурна «амнистія».

Выторговали, что дадутъ два дня на сборы. Никто, оказывается, не готовъ. Острятъ надъ М. Ф. Фроленко: десять лѣтъ дѣлаетъ чемоданъ*), а теперь пришлось ѣхать — не съ чѣмъ, хоть поѣздку откладывай.

Сначала всѣ стояли, какъ растерянные. Величественный, такъ долго жданный моментъ, появленіе котораго рисовалось «въ блескѣ и славѣ», насталъ. Но насталъ такъ сѣро, такъ тускло! Что же это за амнистія, вырванная народомъ? Послѣ 20—25 лѣтняго заключенія увозъ на поселеніе, а прочимъ сокращеніе срока!

Радость момента сразу отравлена. Но за то остра горечь разлуки. Уходить отсюда, оставляя

*) Фроленко специализировался въ Шлиссельбургскихъ мастерскихъ на чемоданахъ. Всѣ отъѣзжавшіе изъ Шлиссельбурга брали его издѣлія. Для себя лѣтъ 10 готовилъ, да все другимъ приходилось отдавать.

«молодыхъ» въ неопредѣленномъ положеніи, такъ тяжело. Уходящіе чувствуютъ какую то неловкость, какъ будто они виноваты въ томъ, что мы остаемся здѣсь.

Ради такого необычайнаго случая комендантъ разрѣшаетъ собираться въ большомъ огородѣ всѣмъ вмѣстѣ.

Больше всего споровъ и обсужденій вызываетъ вопросъ — что собственно вызвало «амнистію»? Очевидно, что если правительство уступаетъ, то не искренно, безъ довѣрія къ «новому строю». Иначе какой смыслъ имѣетъ эта половинчатость?

— Ну, это ужъ такъ, судьба нашей Руси матушки — все шиворотъ на выворотъ, даже и ходъ революціи, остритъ кто то.

Однако надо собираться. Забирать съ собой рукописи, документы и пр. боялись: — могутъ обыскать, тогда все пропадетъ. Рѣшаютъ оставить намъ, такъ какъ де, уже если мы отсюда выберемся, то не иначе, какъ полноправными гражданами, — ворота настежъ, сами потомъ запремъ, да ключъ къ себѣ въ карманъ положимъ.

Начались сборы. Всѣ камеры настежъ, дежурные сняты, суета по тюрьмѣ необычайная. Что забрать съ собой, что оставить? За двадцать лѣтъ накопилось такъ много! Со всѣмъ этимъ

такъ сжились, что теперь жалко разстаться даже съ этимъ, казалось бы, хламомъ. Вечерами, сегодня и завтра, остающіеся будутъ давать порученія уходящимъ. «Оказіи» такъ рѣдки въ Шлиссельбургѣ.

Въ запертыхъ на ключъ камерахъ, вдвоемъ, близко, близко другъ къ другу, озираясь, не подслушиваетъ ли кто, тревожнымъ шепотомъ остающійся твердитъ уѣзжающему. Порученій будетъ много. Какъ бы не спутать! Заучиваютъ какъ урокъ: завтра будутъ сдавать экзаменъ.

Прошелъ и слѣдующій тревожный день. Всѣмъ какъ то не по себѣ. Настала пятница. Къ двѣнадцати часамъ надо быть готовымъ. Письма къ товарищамъ на волю написаны на маленькомъ, маленькомъ клочкѣ бумажки и задѣланы въ надежное мѣсто. Всѣ порученія переданы. Вещи уложены и собраны въ корридорѣ. Уѣзжающимъ дали новое бѣлье, бушлаты, халаты и .... чего не дѣлаетъ «конституція»! — сапоги!

Чуть свѣтъ, — собрались въ большомъ огородѣ. «Старики» уже одѣты по походному. Опять разговоръ о томъ, что «тамъ»? Долго ли будутъ держать въ Петропавловкѣ? Неужели запрутъ въ одиночки и будутъ держать на четвертичасовыхъ прогулкахъ? Этого бы только не доставало для полноты «амнистіи»!

Я думаю, нигдѣ такъ ревниво и упорно не скрываютъ свои чувства, какъ въ Россіи.

Оставалось часа два до увоза. Моментъ, несомнѣнно, исключительный. Послѣдніе могикане увозятся изъ Шлиссельбурга. Вѣдь это какъ бы символъ великой трагедіи, разыгрывающейся тамъ — въ великой странѣ. Старики «амнистированы» — со старымъ режимомъ какъ ни какъ покончено. Но «молодые» еще остаются: новаго режима пока еще нѣтъ, да и неизвѣстно будетъ ли: — посмотримъ, молъ. Что должны были переживать въ этотъ моментъ и уѣзжающіе и остающіеся!

Но всякій упорно скрывалъ свои чувства, стараясь казаться совершенно спокойнымъ. Подъ конецъ заговорили о пустякахъ. Вспоминали курьезы. Старались шутить. Смѣялись. Но и пустяки, и курьезы, и шутки, и смѣхъ — все это было только напускное. То, что всѣхъ волновало, боялись затрогивать, о самомъ главномъ избѣгали говорить.

Но на умѣ у всѣхъ было совсѣмъ другое. Одинъ вскользь высказалъ общую думу, — нельзя же уходить такъ, не попрощавшись съ могилами!.... Наступило неловкое молчаніе. Сдѣлали видъ, что не разслышали. Но какой адъ долженъ былъ быть на душѣ у нихъ! Конечно,

на «кладбище» не пустятъ, — зачѣмъ же и поднимать этотъ вопросъ?

Передъ увозомъ покормили обѣдомъ. Послѣ обѣда опять собрались въ большомъ огородѣ. На тюремномъ дворѣ выстраивается жандармскій конвой. Конвоировать будутъ шлиссельбургскіе жандармы и офицеры. Всѣ въ караульной формѣ. Является комендантъ.

— Ну, господа, распрощайтесь и въ путь.

Началась сдача крѣпости. Народная Воля сдавала крѣпость своей преемницѣ, Партіи Соціалистовъ-Революціонеровъ. Именно эта то исключительность момента заставила насъ, — какъ это ни было тяжело и «непривычно», отпустить ихъ съ прощальнымъ словомъ. Въ свое время оно было напечатано. Вотъ оно:

Товарищи!

Не въ традиціяхъ русскихъ революціонеровъ взаимныя изліянія чувствъ. Но необычность настоящаго момента, неизвѣстность, увидимся мы или нѣтъ, обязываетъ насъ высказать вамъ хоть часть того, что сказать должно было бы.

Партія Соціалистовъ-Революціонеровъ считаетъ себя духовной наслѣдницей Народной Воли. Мечтой и стремленіемъ піонеровъ П. С.-Р. было вдохнуть въ молодую партію тотъ духъ революціонной

стойкости, гражданскаго мужества и беззавѣтной преданности народному дѣлу, которыми такъ сильна была Народная Воля и который покрылъ ее такой неувядаемой славой. Вы, послѣдніе могикане плѣнной, разбитой партіи. Сегодня вы, старая гвардія, отслуживъ всѣ возможные и невозможные сроки, оставляете Шлиссельбургъ и передаете намъ, молодымъ солдатамъ молодой Партіи, свое знамя.

Помните: мы знаемъ, что это знамя облито кровью погибшихъ здѣсь товарищей. Мы знаемъ, что оно переходитъ къ намъ чистымъ и незапятнаннымъ, что таковымъ же мы должны его сдать нашимъ преемникамъ, если таковые еще, къ несчастію, будутъ. И мы надѣемся, что эта задача окажется намъ по силамъ.

Уходя отсюда, вы, восемь человѣкъ, уносите 203 года тюремнаго заключенія. Ноша чудовищная, почти невѣроятная. И если вы подъ тяжестью ея не пали, товарищи, вы честные, надежные носильщики. Вотъ чувства, волнующія сегодня насъ, остающихся, и тѣхъ, которые ждутъ васъ тамъ, за стѣной этой тюрьмы.

Помните и знайте: Партія Соціалистовъ-Революціонеровъ, революціонный пролетаріатъ, крестьянство и молодежь ждутъ васъ, какъ самыхъ дорогихъ, самыхъ близкихъ людей. Ихъ горячія объ-

ятія, ихъ братская любовь и участіе растопятъ ледъ, накопившійся за безконечные годы мучительнаго одиночества и съ лихвой вернутъ вамъ то, безъ чего такъ изголодалась и исхолодалась ваша душа. Отдайтесь довѣрчиво ихъ чувству: вы вполнѣ заслужили его.

И еще вотъ что: пусть мысль о насъ, остающихся, не омрачитъ вашего настроенія. Какъ бы ни была тяжела разлука съ вами, какъ ни будемъ мы себя чувствовать одинокими и осиротѣвшими, печально не столько то, что мы остаемся, сколько то, что шлиссельбуржцы остаются: стало быть въ нихъ есть еще надобность!

Вы оставляете намъ по себѣ хорошую память. Мы были бы рады, если бы таковую же вы унесли о насъ. Привѣтъ всѣмъ. Да не будетъ камень, который вы увозите отъ насъ роднымъ на память о Шлиссельбургѣ, послѣднимъ, да разберетъ народъ оставшіеся камни — ихъ много — на память себѣ о томъ, что было нѣкогда и чему повториться онъ больше не дастъ!

Мы распрощались. Выстроившійся на дворѣ жандармскій караулъ окружилъ ихъ. Начальникъ пересчиталъ, всѣ ли на лицо. Раздалась какая то команда, раскрылись двери кордегардіи, зазвенѣли шпоры и процессія двинулась.

Мы бросились въ тюрьму къ окошкамъ, изъ которыхъ видна дорожка вплоть до внутреннихъ выходныхъ крѣпостныхъ воротъ манежа.

Странную картину представляла эта группа старцевъ въ арестантскихъ шапкахъ, въ безобразныхъ тулупахъ, окруженная живой стѣной жандармовъ.

Все время оборачиваясь къ окошкамъ, къ которымъ мы прильнули, они машутъ намъ шапками и что то кричатъ. Разстояніе между нами быстро увеличивается. У канцеляріи останавливаются. Входятъ туда. Черезъ нѣсколько минутъ показываются жандармы, за ними «арестанты». Машутъ платками. Направляются къ выходу. Вотъ повернули за уголъ. Черезъ деревья едва, едва видны синія шапки жандармовъ. Быстро мелькнулъ красный платокъ*), затѣмъ все скрылось.

Какая то торжественная, необычайная въ новой тюрьмѣ тишина.... Нѣтъ силъ оторваться отъ окошка. Никого не видать, но мысленно слѣдишь за ними. Вотъ они входятъ подъ темные своды. Вдали свѣтъ. Непривычный горизонтъ. Еще нѣсколько мгновеній — и ворота остаются за ними, усталая грудь жадно и трепетно вдыхаетъ

*) Въ Шлиссельбургѣ выдавали на каждаго по два красныхъ (носовыхъ) платка въ годъ.

свѣжій воздухъ, вольный воздухъ!... Одинокіе среди жандармовъ. О томъ ли мы мечтали! Мы думали: «свобода насъ приметъ радостно у входа и братья мечъ намъ подадутъ!»... А теперь!...

Они оглядываются. Передъ ними «государевы ворота».... Когда это было? Вѣдь такъ недавно... Было утро... Тѣ же жандармы... Ноги и руки скованы... Тѣ же ворота, та же надпись «Государева», но тогда позади оставалась воля, жизнь. Ворота все приближались и мракъ становился все гуще и гуще. Когда это было?.... Молодыми, почти юными... они смотрятъ другъ на друга... какіе, однако, они всѣ бѣлые, совсѣмъ старцы, думаетъ каждый про себя... Да, когда это было?... 21 годъ тому назадъ!... 21 годъ!....

. . . .

Мы остались одни въ громадной тюрьмѣ. Черезъ нѣсколько времени донесся отдаленный гудокъ — то пароходы отходили отъ Шлиссельбурга съ «арестантами»...

Глава XI.

Первые нѣсколько дней и мы оставшіеся, и жандармы бродили по тюрьмѣ, какъ «неприкаянные». Все осталось по старому. Та же громадная

охрана, тотъ же штабъ офицеровъ, тѣ же вооруженные часовые на стѣнахъ. Внутри только, въ тюрьмѣ было пусто. Въ «сараѣ» сидѣли Е. Сазоновъ и Сикорскій. Комендантъ обѣщалъ хлопотать, чтобы ихъ разрѣшили перевести въ новую тюрьму. За нами начали ухаживать со всѣхъ сторонъ. Пища сразу улучшилась; прибавили по $^{1}/_{2}$ бутылки молока въ день на каждаго. Докторъ — классическое эхо настроенія «на верху» — прислалъ по куску казанскаго мыла. Скоро душистыя ванны станутъ намъ дѣлать — шутили мы.

Долженъ сознаться, — отвратительно было это ухаживаніе. Цѣну ему хорошо знаешь. Эти люди въ другія времена спокойнѣйшимъ образомъ продѣлывали самыя отвратительныя жестокости, и, конечно, снова будутъ ихъ продѣлывать, какъ только прикажутъ, даже не прикажутъ, а просто захотятъ наверху. Еще въ 1902 году, когда при воцареніи Плеве пища стала невозможной, тотъ же докторъ, теперь дававшій намъ душистое мыло и молоко, на жалобу С. А. Иванова, что пищу эту въ ротъ брать невозможно, отвѣтилъ: «ну, знаете, вы всѣ здѣсь очень привередливы.»

Кое какъ начали входить въ колею. Мы ждали возвращенія коменданта изъ Петербурга съ рѣшеніемъ вопроса о переводѣ Сазонова и Сикорскаго къ намъ. Окно моей камеры (№ 40) выходило

на крѣпостной дворъ, гдѣ находились квартиры солдатъ и офицеровъ. Изъ окна видно было, когда со двора направлялись въ тюрьму. «Визиты» начальства происходили обыкновенно во время разноски обѣда . . .

Въ воскресенье, 6-го ноября, вижу въ тюрьму направляется комендантъ. Зашелъ въ камеру Карповича. Черезъ нѣсколько времени — и очень скоро — раздаются шаги, уходитъ. Что, думаю, больно скоро? Посмотрѣлъ въ окно и чуть не остолбенѣлъ: по направленію къ выходу изъ крѣпости, по той же дорожкѣ, по которой недавно увели стариковъ, шествуетъ Карповичъ въ сопровожденіи коменданта, офицеровъ и унтеровъ. Размахиваетъ руками и махаетъ шапкой. Куда его ведутъ? Неужели выкрали, куда нибудь увезутъ, не давъ даже распрощаться? Бросился къ двери, позвалъ дежурнаго.

— Куда третьяго повели?

— Не могу знать.

— Сейчасъ его видѣлъ — съ комендантомъ шли мимо канцеляріи.

— Не могу знать! Развѣ мы что знаемъ?

Дикая злость охватила всего. «Ну, ладно, пусть только теперь покажутся на глаза, — попадетъ на орѣхи!» . . . .

Мечешься по камерѣ, не зная что и придумать.

— Вѣдь если рѣшено насъ куда нибудь перевести — не стали бы по одиночкѣ выводить! Не иначе, какъ его одного куда нибудь уволокутъ! Но почему же именно его? Или, можетъ быть, уже опубликовали наши письма къ товарищамъ и это его выманили въ карцеръ, а потомъ за мной придутъ?

Въ это время открывается дверная форточка и черезъ нее просовывается лукавая морда вахмистра.

— 35-ый, смотритель приказалъ вамъ сообщить, чтобы не безпокоились за 3-го; къ нему мать пріѣхала на свиданіе...

— На свиданіе?!

— Такъ точно!

Еслибъ мнѣ сказали, что «третій» улетѣлъ на небо живымъ, меня, навѣрное, это гораздо меньше поразило бы, чѣмъ это извѣстіе . . . «На свиданіе!» 21 годъ стоялъ Шлиссельбургъ и ни разу за все это время ни одно живое существо, не принадлежащее къ лику святыхъ жандармовъ, не проникало сквозь эти неприступныя стѣны. Возможность свиданія въ Шлиссельбургѣ казалась ни съ чемъ не сообразной. Какъ? Шлиссельбуржскаго арестанта увидитъ живое существо, которое потомъ вернется въ живой свѣтъ? И стѣны не рухнутъ? И отдѣльный корпусъ жандар-

мовъ не повѣсится?... О, бѣдное, бѣдное самодержавіе, какъ безвыходно должно быть твое положеніе, если ты вынуждено все это претерпѣть и даже, быть можетъ, быть соучастникомъ.

Черезъ нѣкоторое время явился и смотритель подтвердить, что «за третьяго тревожиться нечего, повели на свиданіе съ матерью.»

— И долго тамъ пробудетъ?

— Такъ, вѣроятно, съ часъ.

Повели его въ 12, значитъ въ началѣ второго будетъ обратно. Взобрался на окно, чтобы не пропустить его возвращенія. Проходитъ часъ, проходитъ два, три — нѣтъ. Что за исторія?! Или они въ самомъ дѣлѣ что нибудь съ нимъ сдѣлали и только успокаиваютъ, чтобы оттянуть время? Четыре... пять... все нѣтъ. На дворѣ уже темно, ничего не видать. Часовъ въ семь — слышу, какъ будто нижняя дверь хлопнула. Шаги. Потомъ запираютъ камеру. Дежурный направляется къ моей камерѣ. Отпираетъ.

— 35-ый, пожалуйте въ гости къ 3-му, изъ деревни гостинцы привезли, благодушествуетъ унтеръ.

Лечу къ «третьему». Лицо у него блѣдное, взволнованное.

— Ну что?

— Да понимаешь, исторія какая! Свиданіе съ матерью имѣлъ!

— Все время? Семь то часовъ?

— Все время. У командира и ночевать осталась. Завтра утромъ будетъ еще одно.

— Узналъ что нибудь?

— Цѣлый коробъ новостей. Чудеса да и только!...

Да, чудеса да и только! Это были первыя новости изъ болѣе или менѣе вѣрнаго источника. Конечно, источника очень ограниченнаго, мало освѣдомленнаго, но все же, какъ потрясающи были для насъ тѣ извѣстія!

Пріѣхала на лошадяхъ: желѣзнодорожная забастовка. Почта и телеграфъ тоже бастуютъ — это казалось намъ верхомъ неправдоподобности. Нельзя сдавать телеграммы, нельзя посылать писемъ! Объявлены свободы. Повсюду безконечные митинги, собираются десятки тысячъ прямо на улицахъ. Но повсюду погромы. Кровь льется рѣкой. Крестьяне за одно съ рабочими. Сергѣй разорванъ на куски, «едва въ платочкѣ кое что набрали». Бомбу бросилъ Каляевъ. Сейчасъ послѣ этого вышелъ указъ о народномъ представительствѣ. Бомбы и покушенія каждый день. Въ Сентябрѣ здѣсь казнены двое (объ этомъ мы

не знали). Требуютъ полной амнистіи, ждутъ нашего освобожденія.

Общій потокъ увлекъ и ее, 75-ти лѣтнюю старушку! Вся надежда у нея на революцію — такъ какъ вѣдь только революція можетъ спасти ей сына. Да и очертѣло старое начальство! Не въ моготу стало. Въ арміи повсюду броженіе. Владивостокъ разгромленъ, Кронштадъ разгромленъ.

Передъ нами раскрылся одинъ уголокъ, маленькій уголокъ громадной картины и какимъ величіемъ повѣяло оттуда — отъ Руси, вѣками покоившейся на «исконныхъ началахъ». Намъ совѣтовали не тревожиться: дѣло свободы находится въ вѣрныхъ рукахъ, — наше освобожденіе обезпечено. Надо имѣть только терпѣніе.

Поволновались нѣсколько дней, стараясь изъ отдѣльныхъ, разрозненныхъ сообщенныхъ фактовъ составить себѣ общую картину.

Комендантъ обѣщалъ, что Сазонова скоро переведутъ. Выбрали для нихъ теплыя камеры, заставили вычистить, прибрать. Раздобыли «обстановку». Мы уже къ этому времени въ общихъ чертахъ знали, какое громадное значеніе имѣло уничтоженіе Плеве и горѣли нетерпѣніемъ обнять товарища, на долю котораго выпало такое рѣдкое счастье. Для насъ въ данную минуту самымъ

цѣннымъ представлялось то, что онъ какимъ то чудомъ остался живъ. Онъ еще вѣдь тамъ ничего не знаетъ, что дѣлается въ Россіи, то-то огорошимъ его!

Въ среду, кажется, 10 Ноября, наконецъ объявили, что въ три часа ихъ переведутъ.

Рѣшили встрѣтить ихъ на прогулкѣ, въ большомъ огородѣ...

Я обойду это.

Замѣчу только, что всю глубину радости встрѣчи можно испытать лишь тамъ, въ этомъ мѣстѣ, оторванномъ отъ всего живого. Мы боялись сразу сообщить все, что мы знали: впечатлѣніе можетъ быть слишкомъ сильно, психика можетъ не выдержать: вѣдь отъ радости можно также сойти съ ума, какъ отъ горя. Теперь Сазонову приходилось переживать то, что мнѣ въ сентябрѣ. Одного только онъ былъ лишенъ — возможности свиданія со стариками.

Опять цѣлые дни и вечера проходили въ обмѣнѣ пережитымъ: мы — за это время, онъ — за время до акта 15 іюля. Мы зажили тѣсной семьей, сами не вѣря своему счастью.

Черезъ нѣсколко дней во время прогулки является смотритель: «къ вамъ отецъ пріѣхалъ, пожалуйте на свиданіе!» Карповичъ и Сазоновъ бросились поздравлять, стараясь шепнуть, какія

передать отъ нихъ порученія. Свиданіе было для меня большой радостью. За эти полтора года, оказывается, родные не могли добиться даже простого сообщенія, гдѣ я. Департаментъ полиціи на всѣ вопросы отвѣчалъ: «ничего не знаемъ.» Само собою разумѣется, родные считали меня мертвымъ. Свиданіе съ отцомъ подтвердило въ общихъ чертахъ картину роста революціи, неизбѣжность ея побѣды и что въ скоромъ времени можно ожидать нашего освобожденія.

И мать Карповича, и мой отецъ, отчасти по неосвѣдомленности, отчасти по инстинкту, не открывали передъ нами всего пережитаго страной. Они сообщали намъ скорѣе результаты, да и то только благопріятные. Въ сущности, съ ихъ точки зрѣнія они поступали оченъ умно: мы скоро успокоились. У насъ получилось впечатлѣніе, что все идетъ «въ порядкѣ», своимъ чередомъ, что партіи хорошо организованы, что идетъ планомѣрная работа и планомѣрная борьба. Жертвъ особенныхъ нѣтъ. Словомъ размѣры движенія съ одной стороны суживались, съ другой укрѣплялось убѣжденіе въ близкомъ торжествѣ. И мы, болѣе или менѣе успокоившись, углубились въ занятія, стараясь использовать время «отлучки»: отнынѣ мы считали себя въ отпуску.

Но вотъ, черезъ нѣсколько дней, получилъ сви-

данiе освѣдомленный, близкiй къ партiйной работѣ человѣкъ. Передъ нами развернулась вся жизнь Россiи за послѣднiе два года, но развернулась вся, со всѣми ея ужасами, со всѣми потоками крови, со всей самоотверженной борьбой и звѣрскими преслѣдованiями.

Ружейный грохотъ 9-го Января, безконечные погромы, борьба черныхъ сотенъ, избiенiе манифестантовъ, поджоги митинговъ, все это намъ, бывшимъ внѣ жизни, казалось какимъ то кошмарнымъ сномъ. Сконцетрированное во времени и пространствѣ, оно леденило кровь и такъ давило своею тяжестью, что мы чувствовали себя придавленными необъятными размѣрами жертвъ.

Но за то съ другой стороны, размахъ революцiи, участiе въ ней сознательныхъ силъ, глубина движенiя, грандiозность выдвинутыхъ имъ задачъ, вызывало радостное изумленiе. Все казалось такъ ново, такъ необычайно! Эти дни свободъ, 10-ти тысячные митинги, народныя милицiи, Совѣты рабочихъ депутатовъ, крестьянскiя движенiя, эта самоотверженность, которой были охвачены трудящiяся массы, безкорыстное служенiе свободѣ глубокихъ низовъ, этотъ необычайный, казавшiйся такимъ безконечно далекимъ, подъемъ, неудержимый порывъ къ свободѣ и справедливости, — все это такъ чарующе плѣняло мысль и воображенiе!

Для насъ эти извѣстія были снопомъ свѣта, ворвавшимся въ наши потемки и озарившимъ все такъ ярко и лучезарно, что непривычный глазъ какъ бы искалъ защиты отъ ослѣпительныхъ лучей. Вихрь, ударившій въ склепъ и, какъ осеннія листья, разметавшій все вокругъ. Мысли, какъ вспугнутыя птицы, безпорядочно роились въ головѣ, а сердце, радостное, трепещущее неудержимо рвалось туда, въ бой, въ схватку!

И этотъ бой казался такимъ великимъ, такимъ захватывающимъ, что мы, каюсь, завидовали имъ, счастливцамъ, все это переживавшимъ въ горнилѣ борьбы.

И какой тяжелой, какой мучительной стала тогда жизнь въ нашемъ невольномъ убѣжищѣ, куда громы битвы не долетали. Движеніе, небывалое по широтѣ и размаху, возрожденіе народнаго духа, только разъ переживаемое страной, шло мимо насъ, какъ мимо мертвецовъ. Тамъ кипитъ борьба, идетъ смертный бой съ издыхающимъ чудовищемъ, а мы тутъ, полные силъ и жажды борьбы, вынуждены сидѣть въ бездѣйствіи!

«Къ мечамъ рванулись наши руки, но лишь оковы обрѣли.»

Насъ обнадеживали: «ждите, часъсвободы близокъ.»

И мы жили и дышали только этимъ. Ника-

кихъ другихъ мыслей, никакихъ другихъ разговоровъ. Жили только въ мірѣ борьбы, — свободной, широкой борьбы. Но за то, какъ тягостно бывало пробужденіе! Проносятся громы революціи, рисуешь себѣ побѣдное ея шествіе, видишь народъ — радостный счастливый, освобожденный, — но со стѣны раздается окрикъ часового: «кто иде-е-етъ?» — смотришь на эти твердыни цѣлыя, неприступныя и въ душу прокрадывается холодъ тревоги и сомнѣнія: Шлиссельбургъ живъ — Государево дѣло еще не умерло!...

Но преобладала увѣренность въ близкомъ, очень близкомъ крушеніи всего строя. Мы ждали еще свиданій. Поведеніе начальства такое, что и оно ждетъ — не сегодня — завтра освободятъ. Это было въ двадцатыхъ числахъ Ноября. Говорили, что 6-го Декабря должны послѣдовать «уступки» и, между прочимъ, амнистія.

Глава XII.

Прошло нѣсколько дней. Свиданій нѣтъ. Извѣстій никакихъ. Въ воздухѣ чувствовалось что то тревожное. Никто ничего не говорилъ, никакихъ внѣшнихъ проявленій не было, — все какъ будто по старому, но нами чувствовалось что-то неуловимое, нѣчто такое, чего не было раньше.

Мы насторожились. Въ тяжелой неизвѣстности прошло нѣсколько дней. Настало 6-ое Декабря. Ничего! Прошло 7-ое, 8-ое, 9-ое, — все по старому. Случайно подхватили извѣстіе, что 2-го Декабря всѣ соціалистическія газеты закрыты за напечатаніе какого то манифеста.

Началось! думали мы. Мы рисовали себѣ сцены Іюльской революціи въ Парижѣ при попыткѣ королевскаго правительства закрыть „National". Мыслимо ли, чтобы редакціи революціонныхъ газетъ подчинились министерскому распоряженію?! Редакціи окажутъ сопротивленіе, будутъ поддержаны народомъ и....

Настали нестерпимо мучительные дни. Маленькій просвѣтъ, образовавшійся въ нашихъ потемкахъ, исчезъ. Крышка гроба, приподнятая было немного, снова захлопнулась, и надъ нами снова спустился мракъ. Намъ казалось несомнѣннымъ, что партіи, вслѣдствіе нападенія правительства, призвали народъ къ возстанію; что схватка началась, но что пока побѣда не на сторонѣ народа, такъ какъ наши жандармы — и высшіе и низшіе «подтянулись» и держатъ себя холодно. — Всѣ мысли были направлены только на одно: узнать, что «тамъ»? Мы слѣдили за каждымъ шагомъ, за каждымъ движеніемъ жандармовъ; старались прислушиваться къ ихъ шепоту, ловили ихъ взгля-

ды, — радостные-ли они или печальные? И когда мы у нихъ замѣчали радость, — мы тоскливо расходились по камерамъ. Когда они намъ казались печальными, — мы нѣсколько оживлялись и воспаряли духомъ....

Стоило какому нибудь жандарму явиться въ новой шапкѣ, сапогахъ, не говоря уже о мундирѣ, — мрачнымъ мыслямъ не было конца: надѣятся, значитъ еще существовать, если новой шапкой обзавелись! Разъ какъ-то смотритель вернулся изъ Петербурга въ новомъ пальто. Боже, сколько мучительныхъ дней стоило намъ это пальто!

Въ среднихъ числахъ декабря мы замѣтили какое то необычайное, уже трудно сдерживаемое волненіе среди жандармовъ. Въ дежуркѣ скоплялись группами, съ увлеченіемъ читая какія то газеты. Простаивая у дверей своихъ камеръ цѣлыми часами, стараясь узнать, что вызвало среди нихъ такую сенсацію, намъ за все время удалось только схватить два слова: «опять стрѣляли».

И, конечно, этихъ двухъ словъ достаточно было, чтобы поднять въ насъ цѣлый адъ. Ясное дѣло — началось возстаніе, идетъ послѣдняя схватка. Съ нами ужъ не заигрываютъ: на насъ смотрятъ, какъ на враговъ. Правда, въ обращеніи нѣтъ ничего вызывающаго. Администрація просто

избѣгаетъ встрѣчъ съ нами и держитъ себя необычайно холодно — «дипломатическія сношенія прерваны».

Дни шли, и атмосфера съ каждымъ днемъ все сгущалась, съ каждымъ днемъ становилось все нестерпимѣе и нестерпимѣе. Мы уже жалѣли — зачѣмъ намъ дали эти свиданія, зачѣмъ насъ вывели изъ нашего мертваго покоя, зачѣмъ насъ поманили жизнью! И каждое утро мы встрѣчались, успокаивая другъ друга — можетъ быть сегодня пріѣдутъ, можетъ быть сегодня кто нибудь получитъ свиданіе!

Слухъ изощрился такъ, что мы ухитрялись слышать звонокъ у крѣпостныхъ воротъ*). И между двумя-четырьмя, когда обыкновенно пріѣзжали на свиданіе, при каждомъ подозрительномъ звукѣ, съ тревожнымъ шепотомъ: «пріѣхали на свиданіе!» бросались въ камеры къ окошкамъ, откуда видна была дорожка въ квартиру коменданта. Отогрѣвая замерзшія стекла своимъ дыханіемъ, съ

*) Въ крѣпость никого не пропускають. Если кто нибудь изъ постороннихъ пріѣзжаетъ, часовой даетъ звонокъ, дежурный докладываетъ коменданту, послѣдній или его помощникъ отправляются къ воротамъ и только по личному ихъ приказу часовой даетъ пропускъ. Крѣпостныя ворота очень далеко отъ тюрьмы; но, когда вѣтеръ благопріятный, при чуткомъ слухѣ, можно ухватить слабый звукъ звонка.

трудомъ дѣлаешь кусочекъ прозрачнымъ. Снѣгъ и туманъ мѣшаютъ ясно различить. Кто то идетъ.... Какъ будто въ штатскомъ.... кажется женщина.... «Егоръ, это къ тебѣ! Вѣроятно мать!»....

Ноги устали, съ окошка нестерпимо дуетъ, но сойти не рѣшаешься: вотъ вотъ пойдутъ звать на свиданіе.... Проходитъ 10, 15 минутъ, полчаса — идешь понуро опять въ «огородъ», чтобы при слѣдующемъ подозрительномъ звукѣ снова броситься къ окошку....

Такъ прошелъ мѣсяцъ. Мы совершенно измучились. Режимъ остался почти прежнимъ. Мы не чувствовали никакихъ лишеній. У насъ были камеры, недурной столъ, книги. Мы могли работать въ мастерскихъ. Но мы чувствовали себя несчастными и нервы были напряжены до послѣдней степени. Наше нервное состояніе, вѣроятно, чувствовалось начальствомъ и оно, несомнѣнно, вполнѣ искренно удивлялось нашей «неблагодарности», — ихъ, молъ, ничѣмъ не удовлетворишь. И это вѣрно. Когда люди находятся въ безнадежномъ заточеніи, ихъ ничѣмъ удовлетворить нельзя. У насъ было все. Не было только одного: свободы и связи съ жизнью. И въ отсутствіи этого все остальное превращалось въ ничто. Мы чувствовали себя несчастными, лишенными всего.

Приближалось Рождество. Обыкновенно въ первый день устраивали праздничный обѣдъ: по кусочку утки или гуся и кое-какихъ сладостей: нѣсколько апельсиновъ, яблокъ и $^1/_4$ ф. винограду. Размѣры и доброкачественность «парадная» обѣда зависѣли отъ общей политики и вѣяній «на верху». Мы ждали Рождества въ большимъ трепетомъ: тутъ то мы узнаемъ, какъ обстоятъ дѣла «тамъ».

Экономъ явился къ старостѣ спросить, что мы желаемъ: гуся или утки. Мы возликовали: значитъ не все еще погибло: будетъ гусь или утка, въ переводѣ на языкъ политики это означаетъ, что никакихъ особенныхъ перемѣнъ не произошло. Но тутъ-же кто то высказалъ предположеніе, что это, быть можетъ только военная хитрость съ ихъ стороны: изъ желанія скрыть передъ нами положеніе вещей, рѣшили пожертвовать гусемъ. Начали вспоминать прецеденты: оказывается — плохого скрывать никогда не старались. Бывало, что положеніе то таково, что гуся уже можно дать, но не давали, чтобы не обнаруживать новаго курса, но чтобы, наоборотъ, положеніе измѣнялось къ худшему, а гусю не предъявлялся отводъ, — этого въ практикѣ Шлиссельбурга не случалось.

Гусь — гусемъ, доказательности его все еще не совсѣмъ довѣряли. Вопросъ должны были рѣшить сладости. Съ трепетомъ ждемъ «показателя».

Насталъ первый день Рождества. Гусь, каша, пирогъ, — какъ будто ничего дѣла, — довольно жирныя. Но вотъ судокъ со сладостями. Дрожащей рукой поднимаешь крышку — и весь холодѣешь: одинъ апельсинъ, одно яблоко, виноградъ жалкій, шеколаду совсѣмъ нѣтъ! Гусь, каша, — теперь ужъ не до нихъ! Съ тоскою перебираешь маленькій мандаринъ, засохшее яблоко и въ нихъ видишь символъ пораженія народа и побѣды самодержавія.

Съ трудомъ дожидаешься, пока отопрутъ камеры «на прогулку». Можетъ быть тутъ ошибка какая? Можетъ быть, это только тебѣ, такъ случайно попалось, а у нихъ «показатель» утѣшительный?

Уже издали видишь, что ошибки никакой нѣтъ. Лица у всѣхъ понурыя.

— Одинъ апельсинъ?

— И у тебя шеколаду нѣтъ?

— Нѣтъ! А яблоко тоже одно?

— Одно! И виноградъ скверный!

— Плохо, значитъ «тамъ»?

— Ясное дѣло! Хотя гусь, вотъ, ничего, лучше даже, чѣмъ въ прошломъ году.

— Ну, что жъ гусь! Гусь готовится на кухнѣ! Почемъ тамъ поваръ знаетъ? А вѣдь сладости то, — ими самъ комендантъ распоряжается!

Настоящій то показатель именно апельсины: да вотъ и шеколаду нѣтъ!

Грустные и унылые расходятся по камерамъ. Но вотъ, на завтра къ обѣду вахмистръ подаетъ два громадныхъ апельсина! Кто то стучитъ: получилъ апельсины! Всѣ ли получили? Изъ всѣхъ камеръ летятъ телеграммы — «и я тоже!»

Чтожъ это? Значитъ, не такъ ужъ плохо? На третій день та-же исторія: два большущихъ апельсина, да еще коврижки какія то!

Снова окрыляемся, снова паримъ въ небесахъ....

Въ концѣ Декабря начали вдругъ чистить тюрьму, мыть лѣстницы. Корридоръ выстлали дорожкой. Ждутъ кого то! — Амнистію ли привезетъ, или «законный порядокъ» водворять начнетъ?

Глава XIII.

Постоянная неизвѣстность такъ истрепала нервы, что мы рѣшили, во что бы то ни стало завязать сношенія съ жандармами и добиться у нихъ какихъ либо извѣстій.

Какъ я уже говорилъ, трудность заключается въ томъ, что вы никакъ не можете остаться наединѣ съ ними. Васъ постоянно сопровождаютъ двое. Взаимное шпіонство невѣроятное. Вслѣ-

дствіе этого, за все время существованія Шлиссельбурга, ни разу не удавалось установить какія либо сношенія или хотя полученія извѣстій.

Но теперь, доведенные до отчаянія, мы рѣшились идти напроломъ. Всевозможными хитростями, до которыхъ можно додуматься только въ тюрьмѣ, да еще при такихъ исключительныхъ условіяхъ, удавалось нѣсколько минутъ оставаться наединѣ.

— Вотъ, скоро у васъ большой праздникъ будетъ, — язвишь жандарма.

— А что?

— Да ковры то выстлали, начальство, значитъ, пріѣзжаетъ....

— А намъ то радость какая?

— Какъ же не радость? Вѣдь вы вотъ для начальства душу продали! Сами сколько разъ говорили, что знаете, за кого жизнь отдаемъ, а вотъ не повернется-же у васъ языкъ сказть намъ, что въ Россіи дѣлается. Начальство не приказываетъ, — вы и стоите около насъ, какъ чурбаны, а то и какъ звѣри лютые....

— Намъ и самимъ не легко! Вѣрно, что душу продали! Продашь: нужда заставляетъ....

— А если-бы вамъ предложили за 25 рублей отца зарѣзать, — вы бы зарѣзали?

— Ну, что вы, что вы! Вотъ тоже, чего выдумали!

— А, то-то, — «выдумали»! Значитъ, не все ужъ нужда можетъ заставить дѣлать, покуда совѣсть есть? Выходитъ то, все дѣло въ совѣсти!..

— Въ совѣсти! Конечное дѣло въ совѣсти! Только ужъ напрасно вы на насъ такъ нападаете! Нѣшто ужъ мы такое дурное дѣлаемъ? Не мы — другіе на нашемъ мѣстѣ будутъ, да еще, можетъ, похуже!

— Вотъ какъ! Этакъ то и воръ и разбойникъ можетъ сказать, что никакой его вины нѣтъ, — все равно, молъ, воруютъ и убиваютъ, — не онъ, такъ другой. Такъ по вашему?

— Ну, ужъ вы тоже скажете что! А вотъ я васъ спрошу что: тюрьму то кто строилъ? Ваши же рабочіе? Ружья кто дѣлаетъ, которыми солдаты въ народъ стрѣляютъ? Рабочіе! Про нихъ вы слова дурного не скажете, товарищами величаете! Чѣмъ же мы ихъ хуже? Имъ жрать надо — они тюрьму строятъ. Намъ жрать надо — мы въ тюрьмѣ караулимъ. Все одно выходитъ.

— Не совсѣмъ все одно. Рабочій одной рукой тюрьму пока строитъ, за то другой тюрьму разрушаетъ, за рабочее дѣло да за волю бьется. Рабочій только руки продаетъ, но гдѣ можно, все-

гда хорошему дѣлу поможетъ, а вы не только руки, но и совѣсть продаете...

— Чѣмъ же продаемъ то?

— А тѣмъ, что дѣлаете свое дѣло не только за страхъ, но и за совѣсть. Ну, служите! Пусть такъ. А почему-же вы никогда ничего не скажете намъ, что на волѣ дѣлается? Развѣ такъ рабочій поступилъ бы когда? Просто въ васъ сердца нѣтъ, потому и молчите...

Жандармъ былъ хорошій, простой, честный человѣкъ. Онъ невѣроятно заволновался, обошелъ нѣсколько разъ галлерею, чтобы убѣдиться, не подслушиваетъ ли кто, вернулся и шепчетъ:

— Слушайте, это вы напрасно такъ про меня... Ну, я вамъ скажу: васъ всѣхъ скоро освободятъ, а насъ распустятъ....

— Какъ освободятъ?! Совсѣмъ?

— Не знаю. Должно, что совсѣмъ.... Будто на дняхъ должно рѣшиться.

— А на волѣ что дѣлается? Значитъ народъ побѣдилъ!

— Да что дѣлается! Все въ огнѣ, вездѣ народъ поднимается! Такое пошло — не приведи Богъ....

Все поплыло передъ глазами.... Черезъ нѣсколько минутъ мы всѣ сбились въ кучу. Тревожно оглядываясь по сторонамъ, нѣтъ ли кого

посторонних, дѣлимся необычайными новостями. Освободятъ?! Этого мы совсѣмъ не ожидали. Но какъ же освободятъ, если борьба еще не кончена? Самъ говоритъ — «все въ огнѣ, вездѣ народъ поднимается».... Мыслимо ли въ такой моментъ насъ освобождать? Рѣшаемъ испытать — не дастъ ли газетку, т. е. собственно не рѣшаемъ, а только мечтаемъ, — не вѣря въ возможность этого, — гдѣ ужъ тутъ! Примѣровъ не бывало!

Улучили удобный моментъ, опять заговорили.

— Слушайте, другъ! Ужъ начали доброе дѣло, — доведите до конца. Говорить, сами знаете, неудобно, да и многое вамъ не ясно... Раздобудьте газетку! Сдѣлайте хоть разъ въ жизни хорошее дѣло, увидите — жалѣть не будете.

Жандармъ смутился. Газета въ Шлиссельбургѣ, это все равно, что въ другой тюрьмѣ бомба. Ни за чѣмъ такъ администрація тамъ не слѣдитъ, какъ за непроникновеніемъ свѣдѣній къ заключеннымъ. И постояннымъ напоминаніемъ начальству удалось внушить охранѣ такое отношеніе къ свѣжимъ новостямъ, что сообщеніе ихъ казалось равносильнымъ самому большому преступленію. Но таково уже свойство человѣческаго сердца, — хотя бы и подъ жандармскимъ мундиромъ: дрогнувъ однажды и поддавшись человѣческому чувству — оно открыто для добра. —

Въ слѣдующее дежурство, при выходѣ на прогулку шепчетъ: сегодня я ночью дежурю въ вашемъ корридорѣ. Подъ тюфякомъ найдете газету. Читайте осторожнѣе, — какъ у дверей кашляну, — прячьте. Бога ради не губите, а ужъ я все сдѣлаю.

День казался вѣчностью. Считаешь минуты, ждешь не дождешься 9 часовъ вечера, когда разведутъ по спальнямъ*) и смѣнятся дежурные. Сердце бьется, весь горишь отъ ожиданія. Неужели тамъ таки будутъ газеты? Это кажется счастьемъ, превышающимъ самыя безумныя мечтанія. Настали, наконецъ, 9 часовъ. Разводятъ по камерамъ. Стоитъ неимовѣрныхъ усилій не высказывать своего волненія и спокойно дойти до своей камеры. По дорогѣ обмѣниваешься взглядомъ съ заговорщикомъ жандармомъ. Дверь камеры запирается, ждешь, пока все успокоится и всѣ, исключая верхняго дежурнаго, спустятся внизъ. Вотъ спускаются. Громыхаетъ замокъ нижней входной двери. Тихо. Наконецъ то! Дрожа отъ волненія поднимаешь тюфякъ — газета!!!..

Читалась ли когда нибудь съ такимъ трепетомъ

*) Послѣднее время, когда въ Шлиссельбургѣ осталось мало народу, разрѣшалось имѣть по двѣ камеры: спальню и рабочую. Въ спальную уходили въ 9 час. вечера, а въ 7 час. утра приходили въ рабочую.

«Петербургская Газета» — это была она — на какомъ нибудь пунктѣ земного шара?....

Чуть раскрылъ — и сразу какой то холодный ужасъ пронизалъ всего насквозь. Номеръ былъ старый, середины декабря. На первой страницѣ рисунокъ «къ московскимъ событіямъ». Артиллерія разноситъ дома, баррикады. Повсюду виднѣются трупы и раненые. Другой рисунокъ «на Прѣснѣ». Обстрѣливаемый домъ рушится, охваченный пламенемъ. Еще нѣсколько въ томъ же родѣ.

Что за московскія событія?! Очевидно тамъ было возстаніе. Но неужели дошло дѣло до артиллеріи?! Въ текстѣ отрывочныя свѣдѣнія изъ «усмиренной Москвы» и кое какія изъ другихъ мѣстъ, охваченныхъ возстаніемъ. Дрожа при малѣйшемъ шорохѣ, боясь шевельнуть листомъ, жадно глотаешь газетныя строки, весь горя отъ развертывающихся картинъ. Смертью и ужасомъ вѣетъ отъ нихъ! И жертвы — это видно уже и теперь — напрасны. Правительство побѣждаетъ. Петербургъ спокоенъ, очевидно, это только изолированное выступленіе....

Долго, безконечно долго тянется мучительная ночь.... Снова вихрь, бушующій тамъ, за стѣнами тюрьмы, подхватываетъ тебя и, какъ песчинку, несетъ и треплетъ. Снова камеры напол-

няются грохотомъ битвы, лязгомъ мечей, ѣдкимъ дымомъ, тяжкими стонами .... пахнетъ кровью ... и трупы, трупы! ... и все жертвы, только жертвы ....

Подъ утро на прогулкѣ, начали обсуждать, какъ устроиться съ чтеніемъ. Читать по камерамъ — невозможно, такъ какъ жандармы непремѣнно такъ или иначе накроютъ. Рѣшили наскоро, въ углу большого огорода, гдѣ имѣется навѣсъ, сбить изъ рамъ для парниковъ родъ бесѣдки. Къ тому времени нога ужъ сильно разболѣлась, — ходилъ съ трудомъ, можно было оговорится, что бесѣдку потому и устраиваемъ, что ходить неудобно, а хотимъ посидѣть вмѣстѣ.

Сбили, вышло на славу. Стекла тамъ мутныя, издали ничего сквозь нихъ не видать, что внутри дѣлается. Это была наша лекторія. Разсаживаемся кругомъ, лекторъ посрединѣ, заслоненный со всѣхъ сторонъ облаченными въ громадные тулупы слушателями.

Раздѣльно, но тихо, чтобы жандармы не подслушали, читаются захватывающія новости. Едва дышимъ. Подъ тяжестью развертывающихся событій головы опускаются все ниже и ниже. Порою прорывается не то вздохъ, не то сдавленный стонъ. Лица становятся блѣдныя, глаза влажные, горло что то сдавливаетъ. Кончилось чтеніе. Тихо.

Жутко. Вѣетъ смертью. Всѣ молчатъ — страшно заговорить. Какъ у гроба дорогого покойника. Потомъ расходятся, и по узенькимъ дорожкамъ большого огорода, обутые въ громадные валенки, угрюмо и молча шагаютъ «на прогулкѣ» арестанты. Кругомъ все засыпано снѣгомъ, сплошными стѣнами окружающимъ дорожки.

Съ озера свищетъ буря, злобно и яростно завывая въ клѣткахъ-огородахъ. Низко-низко несутся, точно громадныя чудовищныя птицы темныя, грязно свинцовыя тучи. Въ расщелинахъ стѣнъ, жалобно пища, притаились дрожащіе всѣмъ своимъ маленькимъ тѣльцемъ воробушки. По стѣнѣ, засыпанной снѣгомъ, укутанный въ громадную шубу, какъ темное привидѣніе, гулко шагаетъ съ винтовкой часовой, одинъ нарушающій тишину какимъ то яростнымъ выкрикиваніемъ: «кто . . о идет . . е . . етъ ?»

Такъ же молча и угрюмо расходятся по камерамъ, и передъ безпомощно лежащими на тюремныхъ койкахъ долго, долго проносится образъ терзаемой правительственной вакханаліей страны . . .

Легка борьба. Въ дыму, въ огнѣ битвы бойцы не замѣчаютъ жертвъ. Впереди врагъ. И на этого врага устремлены всѣ помыслы и чувства. Рѣдѣютъ ряды — они смыкаются и снова въ бой.

На могилахъ стоять некогда, — некогда павшихъ считать.

Не то въ неволѣ. Здѣсь во всемъ своемъ обнаженномъ ужасѣ выступаютъ жертвы борьбы. Всѣ мы выбыли изъ строя, когда борьба только начиналась. Каждая могила бойца была святыней и оплакивалась всей Партіей. Теперь этихъ могилъ сотни, тысячи. Висѣлицы, разстрѣлы, карательныя экспедиціи.... все это казалось такъ дико, такъ чудовищно. Каждая жертва революціи стоитъ, какъ живая, и этихъ жертвъ такъ много, что онѣ заполняютъ собою все.

Мы ходили убитые, подавленные, внѣшне стараясь казаться безпечными, чтобы жандармы не заподозрили чего.

Но какъ связать сообщеніе нашего благопріятеля, жандарма, о скоромъ освобожденіи съ извѣстіями о возстаніяхъ и усмиреніяхъ? Очевидно, что нибудь тутъ путаетъ.

— Ну, что, на счетъ насъ извѣстно что нибудь?

— Да толкомъ ничего не знаемъ, скрываютъ, анафемы! Только все разговоръ идетъ, будто васъ освободятъ.

— Освободятъ?!

Съ одной стороны, газетныя извѣстія одно другого мрачнѣй, одно другого зловѣщѣй, а съ дру-

гой стороны это ни съ чѣмъ несообразное утвержденіе о скоромъ освобожденіи, совсѣмъ перепутало всѣ наши мысли и, заставляя прислушиваться къ каждому движенію, къ каждому шепоту, держало все время въ мучительномъ напряженномъ состояніи.

Въ среднихъ числахъ января опять тревога въ крѣпости. Снова какое то начальство пріѣхало. Насъ заперли по камерамъ. Мы слышимъ, какъ начальство ходитъ по всей тюрьмѣ, что-то мѣряютъ, что-то считаютъ. Вечеромъ до поздней ночи возились внизу въ камерахъ-мастерскихъ. На слѣдующее утро мчимся въ мастерскія, — такъ и есть — всѣ инструменты убраны и аккуратно сложены въ одно мѣсто.

Сдаютъ крѣпость по описи!!

Жандармы ходятъ понурые, тоскливые. Отъ нѣсколькихъ удалось вырвать признаніе: жандармамъ приказано подыскивать себѣ мѣста: штатъ распускается; комендантъ и офицеры тоже хлопочутъ о мѣстахъ. Но что же съ нами будетъ?! Никто ничего не знаетъ. Черезъ нѣсколько дней прочли въ газетахъ указъ объ уничтоженіи Шлиссельбурга, какъ государственной тюрьмы. О насъ ни слова.

Потомъ нашъ пріятель раздобылъ намъ свѣдѣніе: насъ будто-бы уже въ первыхъ числахъ

января должны были увести, но не рѣшаются изъ за алгарныхъ безпорядковъ, да и мѣста въ тюрьмахъ нѣтъ. Пожалуй продержать здѣсь до весны. Повезутъ будто-бы, не то въ Архангельскую губернію, не то на Кару!! Насъ такъ истомило это неопредѣленное положеніе, что рады были бы хоть въ самый адъ, только бы что нибудь опредѣлилось.

Начальство все время не показывалось. 29-го января, въ обѣдъ, вдругъ является комендантъ со свитой.

— Ну вотъ укладывайтесь и вы теперь.

— Какъ? Куда? — дѣлаешь видъ, что ничего не знаешь.

— Крѣпость уничтожается. Васъ всѣхъ переводятъ пока въ Москву.

— А дальше?

— Пока ничего не извѣстно. Вѣроятно въ Москвѣ вамъ придется посидѣть нѣкоторое время.

Комендантъ, очевидно, очень недоволенъ уничтоженіемъ Шлиссельбурга.

— Вотъ прокричали всѣ газеты — застѣнокъ, застѣнокъ — ну, и докричались! А чѣмъ здѣсь плохо? Ни въ одной тюрьмѣ вамъ не будетъ такъ хорошо, соболѣзновалъ комендантъ о нашей участи.

— Ну, какъ нибудь проживемъ, — язвили мы.

Завтра вечеромъ въ дорогу! Опять странная «амнистія» — изъ Шлиссельбурга на каторгу.

Но волненіе сильно охватываетъ насъ: все-же будетъ что-то другое, все-же хоть и черезъ рѣшетку, а увидимъ вольный міръ! Каковъ-то онъ теперь? Сборы быстро кончились. Увозить назначено на завтра въ 6 часовъ вечера. Прошла полная тревогъ и упорныхъ думъ о прошломъ и невольныхъ мечтаній о будущемъ, послѣдняя ночь въ Шлиссельбургѣ. Къ вечеру собрались всѣ вмѣстѣ и устроили въ камерѣ прощальное чаепитіе.

Тѣни Александра III-го, Толстого и Плеве, — какъ онѣ въ этотъ моментъ должны были скорбѣть! Въ Шлиссельбургской камерѣ «арестанты» вмѣстѣ чай пьютъ и о паденіи самодержавія превратныя толкованія ведутъ!

Жандармы вынесли вещи. Явился комендантъ. Угрюмъ и сосредоточенъ. Мы вспомнили лучезарное настроеніе начальства въ октябрѣ, при увозѣ стариковъ, и невольно улыбнулись: видно революція то въ серьезъ пошла и флиртованіе кончилось! — Пошли сѣтованія о томъ, что «у насъ ничего толкомъ не можетъ выйти», что «вотъ все, кажется было дано, а непремѣнно нужно имъ сейчасъ-же «республику по Карлу Марксу», что жить стало теперь невозможно, — того и гляди бом-

бой тебя угостятъ и все такое прочее, въ томъ же родѣ. Наши пріятели жандармы, стоя позади коменданта на вытяжку, лукаво подмигиваютъ намъ: «кончилось, молъ, безпечное начальническое житье» . . . .

Вахмистръ явился съ докладомъ, что «все готово». Настаетъ до извѣстной степени историческій моментъ: послѣдняя минута Шлиссельбурга. Мы облекаемся въ большіе тулупы и валенки и выходимъ на дворъ, весь запруженный жандармами. Направляемся къ выходу. Гулъ шаговъ и звонъ шпоръ рѣзко звучатъ подъ темными сводами воротъ. Раздается какая то команда — ворота распахиваются. Все кругомъ засыпано снѣгомъ, — вдали чернѣетъ Нева. У берега дожидается лодка съ гребцами-жандармами.

Яркій зимній вечеръ. Черныя, какъ расплавленный свинецъ, тяжелыя волны*) лѣниво бьютъ о бортъ лодки. Съ темнаго мрака воды хмуро поднимаются засыпанныя снѣгомъ стѣны крѣпости. Зловѣщая Іоанновская башня.

— Вотъ глядите, тутъ налѣво, всѣ и похоронены, — шепчетъ сзади жандармъ.

Впиваешься глазами, ищешь какихъ нибудь

---

*) У крѣпости теченіе Невы такое быстрое, что она тамъ никогда не замерзаетъ.

слѣдовъ, — ничего не видать: небольшой клочекъ земли между водой и стѣнами Іоанновской башни, засыпанный снѣгомъ. Подъ взмахами гребцовъ лодка быстро удаляется отъ крѣпости. Тяжелое гробовое молчаніе. Всякій про себя думаетъ свою скорбную думу о прошломъ этого скорбнаго мѣста, о тѣхъ, чьи засыпанныя снѣгомъ могилы остаются теперь одинокими въ этомъ одинокомъ углу.

Съ воды поднимается тяжелый ледяной туманъ, все больше и больше окутывающій крѣпость. Виднѣются лишь уже неясные контуры. Сѣрая мгла застилаетъ все и крѣпость сливается съ этой мглой.

Шлиссельбурга нѣтъ....

Глава XIV.

На берегу насъ ждутъ тройки, съ веселымъ гиканьемъ въ мигъ примчавшія насъ къ станціи Ириновской дороги. Тамъ дожидается уже экстренный поѣздъ. Черезъ полтора часа мы въ Петербургѣ. Вся станція запружена шпіонами и полиціей. Вдали виднѣются конные жандармы и городовые. У вокзала, на площади, пять каретъ, окруженныхъ плотной цѣпью верховыхъ. Мы разсаживаемся и подъ охраной эскадрона жандармовъ несемся на Николаевскій вокзалъ.

Съ трудомъ незамѣтно протираешь кружочекъ въ замерзшемъ стеклѣ кареты. Магазины открыты, но улицы пустынны. На перекресткахъ сильные наряды конной и пѣшей полиціи. Ни живой души. Охватываетъ какая-то жуть. «Мертвый городъ».... Кое-гдѣ пугливо пріоткроется дверь магазина и изъ нея съ тревожнымъ недоумѣніемъ глядятъ люди на мчавшіяся подъ эскортомъ жандармовъ кареты.

Ни одного привѣта, ни одного возгласа. Гдѣ-же она, возставшая Россія, гдѣ-же онъ, мятежный Петербургъ?....

Примчали на товарную станцію Николаевской дороги. Тамъ военные полковники и генералы, жандармскіе полковники и генералы, полицейскіе полковники и генералы и шпіоны, шпіоны — безъ конца. Въ дальнемъ углу станціи приготовленъ арестантскій вагонъ. Насъ вмѣстѣ съ жандармской охраной ввели туда и часа два продержали на запасномъ пути.

Потомъ, когда вагонъ прицѣпили къ поѣзду и подали къ станціи, обиліе жандармовъ, очевидно, привлекло вниманіе публики. На площадкахъ вагона смежнаго поѣзда показались рабочіе картузы, студенческія фуражки, замелькали сочувственныя лица. Но «безпорядокъ» былъ вскорѣ замѣченъ, явился патруль и водворилъ спокойствіе и тишину.

Поѣздъ тронулся, сопровождавшіе насъ офицеры, провѣривъ посты, ушли къ себѣ въ купэ. Конвоировали насъ шлиссельбургскіе жандармы — 12 унтеровъ. Отношенія у насъ съ ними были хорошія. Намъ предстояло провести вмѣстѣ послѣднюю ночь.

И это была удивительная ночь, полная глубокихъ неизгладимыхъ впечатлѣній.

— Надо бы правовой порядокъ-то спать уложить, — говоритъ одинъ унтеръ другому.

— Какой правовой порядокъ? — спрашиваемъ мы.

— А это, значитъ, мы на партіи такъ дѣлимся, — лукаво отвѣчаетъ унтеръ. — Наша компанія — это лѣвые, а тѣ — «правового порядка».

— Вѣрноподданные?

— Во-во! Просто сволочи!

«Правовой порядокъ», какъ и подобаетъ истинно русскимъ людямъ, веселіе коихъ есть пити и ѣсти, засѣлъ за трапезу, а вскорѣ разлегся въ смежномъ отдѣленіи, громкимъ храпомъ свидѣтельствуя преданность свою «престолъ-атечеству». Караулъ заняли «лѣвые» . . . .

Часа два ночи. Въ закопченномъ фонарѣ тускло горитъ свѣча, едва освѣщая контуры вагона. Поѣздъ, пыхтя и громыхая, несется по

снѣжной равнинѣ. Мы всѣ — арестанты и они — конвойные жандармы, сбившись въ одну кучу, тѣсно прижавшись другъ къ другу, растроганные, взволнованные, шепотомъ, тревожно оглядываясь на дверь, ведемъ «запрещенную» бесѣду. Жандармы открываютъ намъ тайны Шлиссельбурга.

То, чего они не рѣшались касаться тамъ, въ Шлиссельбургѣ, они торопятся передать намъ въ эту послѣднюю ночь. Это была удивительная сцена, — эти многочасовые разговоры съ блестящими глазами, съ дрожащимъ отъ волненія голосомъ. Всѣ казни, всѣ смерти, всѣ пытки прошли передъ нами въ разсказахъ очевидцевъ.

Вотъ что, между прочимъ, удалось узнать о Качурѣ. Онъ прибылъ въ Шлиссельбургъ бодрый, здоровый, веселый. Черезъ нѣкоторое время *потребовалъ* работы въ мастерской. Когда ему отказали, указывая, что первое время заключенные должны проводить въ полномъ одиночествѣ и бездѣйствіи, онъ заявилъ, что *заставитъ* выполнить его требованіе, и объявилъ голодовку. Прошло дней шесть. Видя его упорство, жандармы сдались и въ одной изъ камеръ устроили для него мастерскую. Это было въ апрѣлѣ 1903 года. Качура работалъ съ увлеченіемъ. Мѣсяца черезъ два завязывается интрига совершенно непонятнаго свойства. Къ сожалѣнію, сами жандармы знаютъ

о ней въ самыхъ смутныхъ чертахъ. Вотъ что имъ извѣстно.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ, въ одну изъ субботъ, когда Качуру повели въ баню, въ камерѣ дежурный жандармъ, по обыкновенію, произвелъ обыскъ. Гдѣто была обнаружена запрятанная записка, будтобы *отъ моего имени къ нему, Качурѣ**). О чемъ говорилось въ запискѣ, они не могли допытаться. «Найденная» записка была представлена коменданту. Вскорѣ послѣ этого комендантъ явился къ Качурѣ и, выславъ жандармовъ, заперся съ нимъ наединѣ. О чемъ былъ разговоръ, — они не знаютъ. Комендантъ оставался часа два. Черезъ нѣсколько дней разговоръ при такой-же чрезвычайной обстановкѣ повторился.

Настроеніе Качуры сразу измѣнилось. Онъ сталъ сосредоточенъ, угрюмъ. Черезъ нѣкоторое время въ Шлиссельбургъ прибылъ какой-то судейскій (по описанію Трусевичъ). Онъ помѣстился въ какой-то комнаткѣ у манежа (очевидно, избѣгая канцеляріи, такъ какъ проходящіе туда видны заключеннымъ въ новой тюрьмѣ и всѣмъ живущимъ

---

*) Само собою разумѣется, никакой записки я Качурѣ не посылалъ. Если записка дѣйствительно была ему доставлена, то это дѣло рукъ департамента полиціи или Трусевича. Содержаніе записки напрашивается само собою и все дальнѣйшее становится понятнымъ.

въ крѣпости). Въ 12 часовъ дня, когда смѣняется караулъ, Качуру переодѣвали въ жандармскую форму и вмѣстѣ со всѣми унтерами онъ проходилъ черезъ тюремный дворъ къ пріѣзжему судейскому. Всѣмъ строго на строго приказано было удалиться и близко не подходить. Бесѣда тянулась цѣлый день. О чемъ говорилось, — не смотря на то, что всѣ были крайне заинтригованы, — никто не зналъ. Офицеровъ и коменданта тоже не допускали.

Это въ теченіе Іюня-Іюля повторилось нѣсколько разъ, пока Качуру вдругъ неожиданно для всѣхъ нихъ не увезли въ Петропавловскую. Черезъ нѣкоторое время его привезли обратно. Онъ вернулся совершенно подавленнымъ и въ такомъ состояніи находился до зимы, когда его уже окончательно увезли. Съ жандармами не разговаривалъ, почти не отвѣчалъ на вопросы, бросилъ работать въ мастерской, пересталъ читать книги, даже отъ прогулокъ часто отказывался. Въ камерѣ на столѣ остались нѣкоторыя надписи, говорящія о какомъ-то душевномъ надломѣ. Такъ, въ одномъ углу выцарапано: «погибло все, чему я въ жизни поклонялся».... «душа пуста, душа мрачна».... «о, думы, думы, надежды и желанія, погибли вы!».... и проч. все въ томъ же родѣ. Вотъ все, что удалось узнать о немъ.

Всѣ они присутствовали при казняхъ въ Шлиссельбургѣ и вотъ что они разсказываютъ о послѣднихъ минутахъ казненныхъ. Ихъ разсказы, какъ очевидцевъ, слѣдуетъ считать единственно вѣрными и совершенно уничтожающими многочисленные разсказы охочихъ людей, вродѣ фантастическаго кающагося жандармскаго офицера, помѣстившаго свои фельетоны, полные лжи и вымысловъ, на страницахъ Русскихъ Вѣдомостей.

Степана Балмашева привезли утромъ, часовъ въ 10 и провели въ канцелярію. Держалъ себя твердо, спокойно. Не доходя канцеляріи, увидавъ новую тюрьму, началъ размахивать шляпой. Днемъ пилъ чай и обѣдалъ. Вечеромъ его провели въ старую тюрьму и помѣстили въ одной изъ камеръ, недалеко отъ камеры, гдѣ уже подъ замкомъ сидѣлъ палачъ.

— Когда нужно будетъ, не забудьте меня разбудить, съ усмѣшкой сказалъ Ст. Вал. дежурному и легъ спать.

Часа въ 4 утра въ его камеру явился товарищъ прокурора окружного суда «со свитой». Балмашевъ спалъ и его долго не могли добудиться. Наконецъ пріоткрылъ глаза и досадливо спрашиваетъ.

— Ну, что? Чего вамъ тамъ нужно?

— Вы такой-то?

— Я!

— Вамъ извѣстно, что вы приговорены с.-петербургскимъ военно-окружнымъ судомъ къ смертной казни?

— Извѣстно.

— Приговоръ вошелъ въ силу и сейчасъ будетъ приведенъ въ исполненіе.

— А, да! Ну, хорошо, хорошо!....

Опять легъ на подушку, закрылъ глаза и какъ бы заснулъ. Его снова разбудили.

— Да вставайте-же! Уже все готово!

— Хорошо, хорошо! Вотъ сейчасъ!

Снова ложится. И такъ нѣсколько разъ. Наконецъ приподнялся и съ усмѣшкой говоритъ:

— Такъ вставать? все готово? Ну, вставать, такъ вставать!

Онъ оглядываетъ камеру. Передъ нимъ въ вицъ мундирѣ представитель закона — прокуроръ. Дальше — исполнитель закона, палачъ Филипьевъ. Онъ весь съ ногъ до головы въ красномъ: красная шапка, красная блуза, красные шаровары. Въ одной рукѣ веревка, въ другой плеть. Лицо звѣрское — сѣрое, одутловатое, съ мутными налитыми кровью глазами. Онъ подходитъ вплотную къ своей жертвѣ, поднимаетъ надъ головой плеть и рычитъ: «руки назадъ! Запорю при малѣйшемъ сопротивленіи!»....

Веревкой скручиваютъ руки и процессія направляется изъ камеры въ маленькій дворикъ, между крѣпостной стѣной и старой тюрьмой — у Іоанновской башни. Тамъ уже «все готово». Эшафотъ, тутъ же вырытая яма, у нея черный ящикъ-гробъ. Дворикъ наполненъ начальствомъ и жандармами. Балмашева вводятъ на эшафотъ. Секретарь суда читаетъ приговоръ. На эшафотъ поднимается священникъ съ крестомъ. Ст. Вал. мягко отстраняетъ его: — «къ смерти я готовъ, но передъ смертью лицемѣрить, батюшка, я не хочу».

Мѣсто служителя бога занимаетъ служитель царя — палачъ. С. В. стоитъ прямо и спокойно, со своей вѣчной слегка грустной, слегка насмѣшливой улыбкой на устахъ.

Палачъ накидываетъ на голову капюшонъ савана, затѣмъ петлю. Ударомъ ноги вышибаетъ доску, тѣло грузно падаетъ внизъ. Раздается глухой стонъ. Веревка натягивается и трещитъ. Тѣло вздрагиваетъ и передергивается конвульсіями. Ноги упираются въ помостъ — смерть идетъ медленно. Палачъ крѣпко обхватываетъ тѣло и съ силой дергаетъ внизъ. Присутствовавшихъ охватываетъ ужасъ. Жутко, гадливо, стыдно. Раннее ясное утро. Солнце только что поднялось и его мягкіе золотистые лучи бьются о перекладины висѣлицы. Кругомъ свѣжая яркая

зелень. Птички весело чирикаютъ, съ озера доносится пискъ чайки. А люди въ мундирахъ, съ орлами на пуговицахъ, угрюмо стоятъ, потупивъ глаза, блѣдные, взволнованные и ждутъ, пока тѣло, облеченное въ саванъ и повисшее на веревкѣ, перестанетъ вздрагивать. Ждутъ долго — безконечно долго — до получасу.

Палачъ принимаетъ въ свои объятія тѣло, обрѣзываетъ веревку, кладетъ трупъ на помостъ. Подходитъ докторъ, слушаетъ сердце — все въ порядкѣ: сердце не бьется. Трупъ кладутъ въ ящикъ, обсыпаютъ известью, покрываютъ крышкой. Ударъ молота злобно прорѣзываетъ утренній воздухъ: то прибиваютъ крышку гроба. Ящикъ опускаютъ въ вырытую тутъ же яму, засыпаютъ подравниваютъ съ землей и медленно, стыдясь глядѣть другъ другу въ глаза, расходятся.

Царское правосудіе свершилось.

Тюрьма въ это раннее утро не спала. Появленіе Стенана Балмашева было замѣчено. Было замѣчено также, что на дворикѣ старой тюрьмы сколачиваютъ что то изъ досокъ.

Эшафотъ строятъ — прожгло всѣхъ.

Всю ночь стояли у оконныхъ рѣшетокъ. Видѣли, какъ подъ утро въ старую тюрьму прошло начальство. Черезъ часъ въ церковный садикъ изъ старой тюрьмы прошелъ старикъ священникъ.

Согнутый, жалкій, еле передвигая ноги, безпомощно опустился на скамейку, склонивъ голову въ упирающіяся въ колѣни руки. Черезъ нѣкоторое время чуткое ухо Антонова услышало отдаленный звукъ. Опытный кузнецъ различилъ ударъ молота о желѣзный гвоздь и тюрьмѣ все стало ясно!

. . . .

Почти ровно черезъ три года произошла вторая казнь — И. П. Каляева. Объ этой казни уже много писалось, и въ общемъ она описана вѣрно. Палачемъ былъ тотъ же Филипьевъ. По описанію жандармовъ это удивительное созданіе. Былъ когда то офицеромъ, совершилъ какое-то невѣроятно гнусное преступленіе, былъ приговоренъ къ смертной казни, но за готовность быть палачемъ политическихъ — помилованъ. Для Балмашева долго искали палача, пока, наконецъ, не напали на Филипьева, сидѣвшаго тогда въ какой то кавказской тюрьмѣ. Его подъ конвоемъ доставили въ Шлиссельбургъ.

Все время, въ ожиданіи исполненія своихъ обязанностей, большими стаканами пьетъ водку. Образъ совершенно звѣриный. И этотъ человѣкъ, не смотря на то, что получаетъ за каждый «выѣздъ» по 100 руб., невѣроятно тяготится своими обязанностями. По службѣ быстро теперь повышается. На казнь Каляева пріѣхалъ уже подъ охраной

одного только жандарма, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, — на казнь Гершковича и безъ всякой охраны: заслужилъ довѣріе власти.

Маленькая, почти невѣроятная подробность: послѣ казни Каляева Филипьевъ началъ ходить *въ офицерскомъ мундирѣ, съ георгіемъ въ петличкѣ.* Въ такомъ видѣ онъ прибылъ въ сентябрѣ на казнь Гершковича, крайне смутивъ жандармовъ. Это — невинная слабость «старика», на которую доброе начальство смотритъ сквозь пальцы. Филипьевъ просилъ разрѣшить ему это «единственное утѣшеніе» и начальство рѣшило выполнить просьбу полезнаго человѣка. Офицеръ, съ георгіемъ въ петличкѣ, пріѣзжаетъ въ крѣпость съ маленькимъ узелкомъ, въ которомъ увязанъ его настоящій мундиръ — красное одѣяніе, плеть и веревка.

И. П. Каляева привезли не въ канцелярію, а въ пріемную, въ манежѣ. Тамъ онъ пробылъ цѣлый день. Долго ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, потомъ сѣлъ писать. Исписалъ цѣлый листъ бумаги, но послѣ нѣкотораго размышленія облилъ чернилами и изорвалъ. Потомъ легъ на койку. Его знобило. Онъ попросилъ чего либо теплаго накрыться, замѣтивъ жандармамъ: вы не думайте, что я дрожу въ ожиданіи смерти — мнѣ просто холодно.

Днемъ изъ канцеляріи нѣсколько разъ ходилъ къ нему какой то чиновникъ съ бумагами, повидимому, предлагалъ подписать прошеніе о помилованіи. Ночь провелъ здѣсь же, въ манежѣ. Подъ утро явились власти: прокуроръ, палачъ въ красномъ, жандармы и проч. И. П. былъ одѣтъ и не спалъ.

Прокуроръ объявилъ, что приговоръ скоро будетъ приведенъ въ исполненіе. Палачъ связалъ руки и процессія двинулась къ мѣсту казни — въ дальній уголъ крѣпости, между манежемъ и баней. И. П. шелъ съ гордо закинутой назадъ головой, на эшафотъ поднялся твердо и спокойно. Крестъ цѣловать отказался, но поцѣловалъ священника — «я вижу въ васъ просто добраго человѣка».

Палачъ и на этотъ разъ оказался россійскимъ палачемъ. Петля была накинута скверно и тѣло билось въ судорогахъ. Сцена была такая потрясающая, что присутсвовавшій при казни начальникъ штаба корпуса жандармовъ бар. Медемъ, зарычалъ на палача: «я тебя, каналья, прикажу разстрѣлять, если сейчасъ не прекратишь страданій осужденнаго».

Черезъ полчаса тѣло вынули изъ петли, положили въ черный ящикъ и закопали за крѣпостной стѣной у Іоанновской башни. Зимой тамъ лежатъ

дрова, лѣтомъ пасется скотъ. Тамъ похоронены всѣ умершіе и казненные въ Шлиссельбургѣ, кромѣ С. Балмашева. Могильныхъ насыпей нѣтъ. Все сравнено съ землей.

Послѣднія двѣ казни были въ сентябрѣ 1905 года. О нихъ мы долгое время даже не догадывались. То были казни Васильева и Гершковича. Слѣдуетъ отмѣтить, что Васильевъ не «политическій». Въ нетрезвомъ видѣ, изъ личныхъ мотивовъ онъ застрѣлилъ околодочнаго. Но это совпало съ диктатурой Трепова, когда власти во что бы то ни стало нужна была для острастки казнь. Тупая злоба правителей придралась къ этому невинному, чуждому политики рабочему. Не удивительно, что Васильевъ все время умолялъ начальство сжалиться надъ нимъ, «не губить» его, просилъ у царя милости.

Милости этой у царя не нашлось и онъ былъ казненъ.

Привезли ихъ отдѣльно и въ крѣпости держали врозь. Гершковичу не говорили, что его везутъ на казнь и въ эту ночь онъ казни не ждалъ. Онъ нѣсколько удивился, увидѣвъ часа въ 4 ночи около своей койки прокурора, а за нимъ палача въ красномъ. Но, сообразивъ, въ чемъ дѣло, онъ быстро оправился и гордо, отважно пошелъ навстрѣчу эшафоту.

Стоя въ саванѣ, онъ спокойно слушалъ томительное чтеніе приговора. Когда оно кончилось, онъ, точно съ трибуны, окинулъ всѣхъ презрительнымъ взглядомъ и сказалъ: «вы собрались смотрѣть, какъ я буду умирать? Смотрите, — я споконенъ... я умираю за свободу....»

— Палачъ, кончать! — крикнулъ комендантъ.

Произошло замѣшательство. Обращенія съ эшафота никто не предвидѣлъ, а допустить такое отступленіе въ ритуалѣ нельзя было. Палачъ накинулъ капюшонъ, потомъ петлю, выбилъ доску, раздался не то крикъ, не то стонъ, и тѣло въ саванѣ закачалось. Оно билось долго. Особенная ли жизненность молодого организма, или петля опять была плохо накинута, но когда Гершковича черезъ 30 минутъ вынули изъ петли, въ немъ еще теплилась жизнь. Крѣпостной врачъ, подойдя къ трупу и выслушавъ сердце, конечно сдѣлалъ знакъ, что «все благополучно» — можно хоронить! Но когда начальство удалялось съ мѣста казни, жандармы слышали, какъ врачъ говорилъ коменданту: «собственно говоря, сердце еще слегка билось».

Это «собственно говоря» — безподобно по своей этической наивности.

Странно, ни одна казнь не произвела на жандармовъ такого потрясающаго впечатлѣнія, какъ

казнь Гершковича. Было что то особенное въ этомъ юношѣ, котораго они иначе не называли, какъ «герой». Особенно ихъ потрясли его слова съ эшафота. Всѣ передавали эти слова съ той же удивительной точностью: очевидно они глубоко врѣзались въ эти простыя души... Ночь надвигалась все дальше и дальше, поѣздъ громыхалъ, а мы съ затаеннымъ волненіемъ жадно вслушивались въ скорбную повѣсть шлиссельбургской лѣтописи.

Выяснилась любопытная подробность. Сейчасъ же послѣ нашего процесса, очевидно послѣ безплоднаго посѣщенія Макарова, въ Шлиссельбургѣ получилась телеграмма съ приказомъ поставить висѣлицу. Дѣло потомъ повернулось иначе. Казнь почему то была отмѣнена, но объ отданномъ распоряженіи забыли. Висѣлица простояла больше полугода, и ее сняли уже послѣ того, какъ перевели въ Шлиссельбургъ....

Глава XV.

Часовъ въ пять утра караулъ смѣнился. На дежурство сталъ «правовой порядокъ» и мы могли кое-какъ расположиться на отдыхъ.

Когда начало разсвѣтать, мы бросились къ засыпаннымъ снѣгомъ окнамъ вагона: какова-то она

«новая Россія»? Мертво, пустынно, безлюдно. Насталъ день. Ужасомъ давилъ видъ проѣзжаемыхъ станцій. Нигдѣ ни живой души. Сторожа какіе-то запуганные. Жандармы съ винтовками за плечемъ и солдаты съ примкнутыми штыками. Точно въ завоеванной странѣ, занятой еще непріятельскими войсками! Такой-ли мы рисовали себѣ возставшую страну! Чѣмъ дальше къ Москвѣ, тѣмъ меньше жизни и больше солдатъ! Попадались драгуны, казаки. Видно, что желаніе нагайки — здѣсь высшій законъ.

Что-то насъ ждетъ тамъ въ пересыльной тюрьмѣ? Въ Шлиссельбургѣ мы сжились; начальство скандаловъ не хотѣло, и жизнь съ этой стороны текла мирно. По существу мы лишенные правъ, каторжане. Начальству можетъ заблагоразсудиться показать надъ нами свою власть, это значитъ — безконечная упорная война. Мы сговорились на первыхъ же порахъ отстаивать свое положеніе, войны не вызывать, но если администрація ее вызоветъ, — не сдаваться и идти послѣдовательно до конца.

Къ вечеру приблизились къ Москвѣ. Нашъ вагонъ отцѣпили и отвели на какой-то другой путь. Черезъ нѣкоторое время явился жандармскій полковникъ съ офицеромъ; у полотна ждалъ цѣлый эскадронъ. Нашъ караулъ запротестовалъ: они

16*

де имѣютъ приказъ сдать только тюремному начальству, въ зданіи самой тюрьмы. Долго велись переговоры, пока порѣшили на томъ, что эскадронъ отправится къ тому мѣсту, гдѣ мы будемъ высаживаться, и будетъ эскортировать насъ, а въ каретахъ повезетъ шлиссельбургскій конвой.

Долго возили вагонъ взадъ и впередъ, потомъ повезли по какой то вѣткѣ. Остановились. Слышны свистки, команда, ржаніе лошадей. Послѣ безконечной возни, провѣрки, наконецъ предложили выходить: каждый арестантъ съ однимъ офицеромъ и двумя унтерами. Вышли. Чистое поле, засыпанное снѣгомъ. Вдали дорога. Тамъ кареты. Отъ вагона до кареты сплошная шпалера полиціи и конныхъ жандармовъ, вооруженныхъ винтовками. Усѣлись въ кареты, окруженныя тѣснымъ кольцомъ верховыхъ и куда то понеслись. Ѣхали долго. Наконецъ въѣзжаемъ въ какія-то желѣзныя ворота, къ подъѣзду, залитому электричествомъ.

Тутъ тоже безконечная полиція, какіе-то офицеры, штатскіе. Вводятъ въ какой-то громадный, сводчатый не то залъ, не то сарай. Это, оказывается, такъ называемая сборная Бутырской тюрьмы. Полумракъ, грязныя, запыленныя стѣны. Избитый каменный полъ. По угламъ валяются кандалы. Вдоль стѣнъ скамейки. Подъ охраной

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 02669 2650

DO NOT REMOVE
OR
N RD